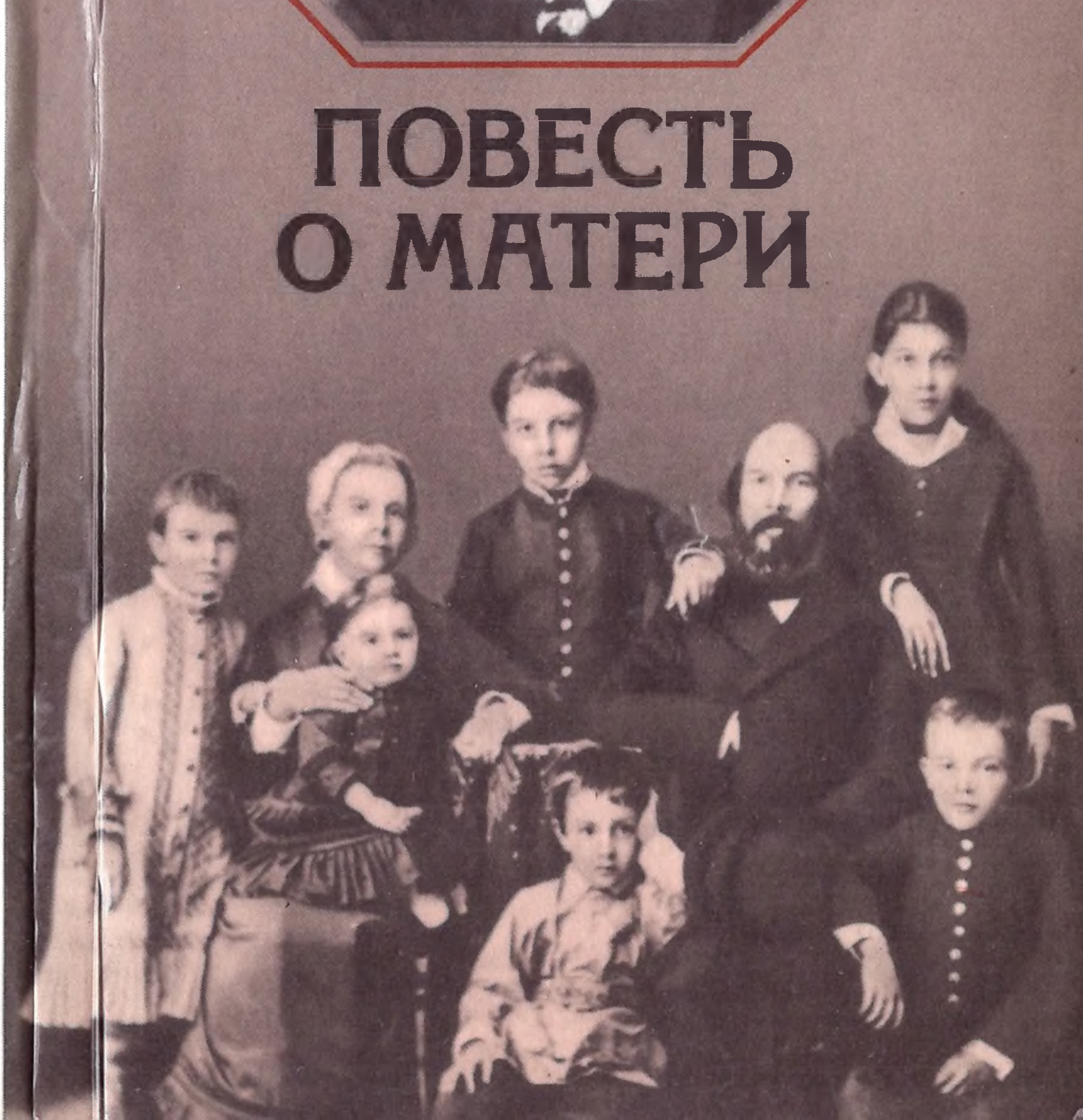
Серия
«СЕМЬЯ
УЛЬЯНОВЫХ»



ПОВЕСТЬ О МАТЕРИ



Елена Вечтомова ПОВЕСТЬ О МАТЕРИ



Серия
«Семья
Ульяновых»

Елена Вечтомова

ПОВЕСТЬ О МАТЕРИ

О Марии Александровне
Ульяновой

Издание 2-е,
дополненное

Москва
Издательство
политической
литературы
1978

3К26
В39

Вечтомова Е. А.

В39 Повесть о матери. О Марии Александровне Ульяновой. Изд. 2-е, доп. М., Политиздат, 1978.

230 с. с ил. (Семья Ульяновых).

В книге ленинградской писательницы Е. А. Вечтомовой прослеживается жизненный путь замечательной женщины Марии Александровны Ульяновой — матери гениального вождя и учителя трудящихся В. И. Ленина, воспитавшей его братьев и сестер — выдающихся революционеров.

Второе издание книги дополнено новыми материалами, обнаруженными за время, прошедшее с момента выхода первого издания (1970 г.).

В $\frac{10604—210}{079(02)—78}$ 203—78 **3К26**

© ПОЛИТИЗДАТ, 1978 г.

Танта Екатерина (так называли тетку дети Бланк) была, а более того,— хотела казаться педанткою. Ничего не поделаешь — профессия гувернантки наложила отпечаток на ее характер. Екатерина Ивановна владела несколькими европейскими языками, знала музыку и обладала своей методой преподавания этих предметов. При отличных манерах в ней никогда не было жеманства, столь ненавистного доктору Бланку. Согласившись поселиться у овдовевшего зятя, она думала все в доме Александра Дмитриевича переделать по-своему. Бедная сестра Анна умерла молодой, подарив мужу шестерых детей и оставив самую младшую, Соню, двухлетней.

Железный характер танты Екатерины (по матери шведки) требовал порядка (а какой порядок, если главы дома никогда не видишь?!), требовал подчинения установленным правилам. «Так надо»,— любила говорить она. Железный характер скрывала легкая улыбка. Энергичные, изработавшиеся руки лежали на коленях небрежно — так бы-

ло надо, чтобы никогда не чувствовалось, что они устали, что мучат ревматизмы. И садилась она всегда как бы на минутку — левое плечо чуть выше правого, готовая тут же вспорхнуть. В пышном темном платье из тяжелой прочной материи с воздушными рукавами, она казалась Маше, если взглянуть издали, огромным бантом, приколотым к креслу.

Екатерина Ивановна восхищалась зятем, его красивым благородным лицом с печальными и насмешливыми глазами в чуть опухших веках, его статной фигурой, улыбкой, прячущейся в темных с проседью усах, но считала, что и его надо переделать, сделать мягче. Не тут-то было! Доктор Бланк, то разъезжавший по земству, то пропадавший в больницах города, тем не менее незримо присутствовал в доме. Идти в открытую схватку она не решалась, слишком уважала его. Однако девочки и Дмитрий — единственный сын — должны быть воспитаны «как надо»! Упрямство Александра Дмитриевича было ей известно: еще покойная Анна, глубоко преданная мужу, без нотки осуждения, а все же сетовала на его стычки с начальством, на нетерпимость к нерадивым сослуживцам.

Талантливый, пытливый, не успокаивающийся на том, что всем привычно, он вынужден был переменить не одно место службы и в Петербурге, и в провинции. Но даже строптивость его не могла помешать начальству видеть и ценить его талант, самоотверженность, мастерство лекаря.

Теперь ринулся он в это захолустье, в Пермь, где нет театра, нет музыкальных кружков или художественных выставок; сплетни, грязь на улицах, трава, козы... Как он уживется здесь? Но он уживался. По-своему. Беспокойно. Служит инспектором врачебной управы. Да еще врачом в уездном училище и в мужской гимназии. Такого в Перми не слыхивали. Он настоял на учреждении этой должности.

Они живут здесь почти год. Приехали в сорок втором.

Нынче Екатерина Ивановна прочитала в «Пермских губернских ведомостях» объявление Императорского воспитательного общества благородных девиц: «Не пожелает ли кто отдать в сем году в это учебное заведение дочерей или родственниц своих... они должны быть совершенно здоровы, а также обучены чтению и письму на русском, французском или немецком языках». А когда после обеда, в столовой, показала это объявление зятю, он, пробежав его глазами, отбросил на круглый стол нумер газеты и едва удержался от резкого слова, наверное, потому, что тут же оказалась большеглазая семилетняя Машенька — его любимица, очень на него похожая.

— Вам известно, Екатерина Ивановна, что это за фабрика жеманниц — закрытое учебное заведение? Фабрика! — Он снова взял в руки серый тяжелый лист «Ведомостей».— Извольте послушать, вот: если не выдержат экзаменов, «девицы исключаются и возвращаются по принадлежности». По

принадлежности! Предметы неодушевленные! Гимназий женских в Перми нет, вот что худо, да и средства мои вам известны. Не будем возвращаться к сему.— Бланк так резко отбросил газету, что она упала на пол.

Екатерина Ивановна пожала плечами, чего «не полагалось». Машенька это заметила, но заметила также и то, что тетка осталась довольна таким ответом. Дети давно решили между собой, что она ревнива и всех их любит. Хмурится для вида.

Маша подобрала «Ведомости» и залезла под стол — она уже умела читать и украдкой обучала азбуке меньшую, пятилетнюю Соню. Но любила еще и строить для нее из жестких этих листов крепости и дома, как из больших игральных карт. Они не гнулись. Буквы на них были не только напечатаны — оттиснуты, до того толста бумага. Отец рассказывал, что слепые читают пальцами, и Маша пробовала это делать сама. Не получалось.

В доме воспитывалось уважение к печатному слову. Журналы и газеты подбирались по номерам и хранились в кабинете. В особенности «Друг здравия». «Ведомостей» отец не жаловал, но просматривал их каждую субботу, как только курьер приносил почту — главным образом «прибавления», в которых печатались и врачебные новости. Над некоторыми смеялся.

«Лечение истерии табаком». Отменно! «Лечение бешенства жуками»! А вот лекарь Лейхтфельд, кажется, в генварском нумере писал: «Баня вызывает чесотку наружу».

Важно было бы писать о пользе бани. А то до сей поры в Александровской больнице узлы с грязным бельем из всех бараков взвешивают в цейхгаузе на тех же весах, что и солонину, и творог для больных!

Александровская больница была выстроена в 1833 году, за несколько лет до приезда Бланка. Она высилась на самой окраине города. Невдалеке проходил Сибирский тракт, шли конвойные этапы. По этому пути проехал в ссылку Герцен... Над глинистой, искореженной дождями и заморозками дорогой вознеслось легкое и большое белое здание, в котором врачевали недуги физические. Медики и больные насадили вокруг него молоденькие лиственницы. Затейливая решетка, напоминающая узоры северных кружевниц, отделяла больницу от дороги. Хорошая больница! Но как многого не хватало ей, чтобы сравняться с европейскими.

Бланк часто стоял возле мордатых смирных львов, изваянных у подъезда Александровской больницы, и думал о том, как трудно, почти невозможно, пробиться сквозь мздоимство, казнокрадство, равнодушие к делу. По смертности губерния — одна из первых в России. Постоянные эпидемии тифа, оспы, дифтерии... А при правильной лекарской помощи сколько рук трудовых высвободилось бы для ремесел! Больше бы врачей, подобных Федору Петровичу Гаазу в Москве! Нет у Бланка состояния, которое мог бы он, как главный врач московских тюрем Гааз, «промотать», помогая этапным. Состояния нет, но семья есть. И нуж-

но вырастить детей, сделать их полезными людьми.

Когда заходили к Бланкам коллеги или молодые учителя, рассуждали о Турьинских минеральных водах. Это был конек Александра Дмитриевича — лечение водой.

— Чем живешь, тем и лечись,—говаривал он. И старался даже своих домашних не лечить лекарствами.— Врачи действуют втемную. Окажем временное облегчение, а как то или другое повлияет на различные органы потом?

Не любил в доме лекарств. Зато приказывал покупать жесткие, пахнущие лыком мочалки — каждое утро холодной водой растирались в семье все дети и взрослые. Все дочки зимой и летом ходили в ситцевых платьях. Одна смена на себе, другая в стирке. Тетка смотрела строго, чтобы все было целое, чистое, подкрахмаленное — особенно воротнички; учила штопать так, чтобы и следа не оставалось, гладить, вязать, шить.

Машенька как раз и хотела показаться отцу — сама помогала танте накрахмалить кружевца на длинных панталончиках, выглядывавших из-под темно-красного платья в белую клетку, а отец и внимания не обратил, наклонился, заглянул под стол, отобрал у нее «Ведомости»:

— Разве не знаешь порядка? Не игрушка. Отнеси в кабинет.

Она послушно ушла, но задержалась в зале, которую Екатерина Ивановна называла двусветной, потому что кроме обычных окон в ней были вверху, под потолком, ма-

ленькие, похожие на игрушечные. Сестра Аня за роялем разучивала урок. Когда Маша вернулась из кабинета, танта Екатерина уже сидела в кресле возле рояля и методично постукивала коротким пальцем по колену, отсчитывая такт. Маша, дожидаясь своей очереди, села на мягкую табуретку и стала слушать игру старшей сестры. Фантазировала, что под потолком живут гномы — работящие человечки. Или Оле-Лукойя, про которого написал Ханс Кристиан Андерсен, а читала и переводила танта. Оле-Лукойя брызжет по вечерам в глаза детям теплым сладким молоком, и веки у них слипаются, тогда он показывает им разные сны. А может быть, он вылезает из камина? Но может, в маленькие окошки влетает и Золотой Петушок. Очень любили дети сказки Пушкина.

В зале всегда было прохладно. Стекла окон внизу подергивались льдом. В морозы их обметывало хвойным серебряным узором.

Екатерина Ивановна взглянула на девочку:

— Отчего не подвесила бутылочки?

Маша помнила о бутылочках, их нужно было подвешивать на гвозди, сделав специальные петли, и спускать в горлышки суровую нитку с подоконников. В оттепель по нитке сбегали капли. Но подвешивать было не так-то легко. А детей приучали всякое дело доводить до конца. Она нехотя побрела на кухню. Взяла там бутылочки и подвесила, замочив пальцы ледяною водою. Вытерла носовым платком.

— Можно в четыре руки? — спросила она тетку.

— Отчего же? Пожалуйста.

Аня живо подставила к роялю второй вертящийся табурет. Маша взобралась на него и спрятала, чтобы согреть, озябшие руки под мышки. Сестра сильно крутнула сиденье. Карусель! Маша расхохоталась. Аня поставила на рояль папку с детскими пьесами «Лошадки».

— О! — Маша захлопала в ладоши.

— Начинай.

Сестра старалась играть медленно, приспосабливаясь к темпу, взятому не совсем еще умелыми, тоненькими, покрасневшими от холода пальцами сестренки. «Лошадки» скакали, правда неспешно, зато громко и отчетливо.

— А я думал, у нас капусту рубят,— раздался голос отца.

Александр Дмитриевич стоял на пороге с небольшим саквояжем в руках — значит, собрался к больным — и усмехался в усы.

Он подошел к роялю и мимоходом потрепал Машу рукой, пахнущей йодоформом. У нее сжалось сердце от радости (проступок ее, значит, прощен), от любви и какой-то жалости к отцу, непонятной ей самой.

— Иду в гимназию. Сегодня осмотр,— сказал отец и вышел.

Если бы не урок, можно было бы попроситься проводить его. Большое каменное здание гимназии с рядом молодых тополько в перед ним, недалеко от их дома, дети знали хорошо. Дорожки туда, к углу Петро-

павловской и Сибирской, были протоптаны и вдоль домов, и через дорогу. Деревянные тротуары положили только у губернаторского дома. По вечерам квадраты света, падавшего из окон, лежали на дороге. Фонарей не было. Маша всегда тревожилась: как-то папа ходит и ездит в такой темноте. Иногда его не видели дома по нескольку дней, а то и недель. Это называлось: «Папа инспектирует»[1]. Но вот ночью, неожиданно, сквозь сон в детскую проникал больничный запах — это отец заглядывал к ним. Он был сдержан в проявлении чувств. И все же бог весть какими путями они поняли раз и навсегда, что вся жизнь отца отдана им. В них сосредоточены его заботы и радости.

Дети любили, когда у отца собирались молодые учителя. Вспоминали злые эпиграммы покойного Василия Тихоновича Феонова. Преподаватель логики и риторики в гимназии, он когда-то жил в этом доме. Не забывали пресловутых пермских тротуаров, проложенных по случаю приезда царя Александра I по указу губернатора:

О, чудотворец наш Кирилл,
В Перми ты много натворил:
От Ягошихи и до Слудки
Построил тротуары в сутки.
Наставил будок среди улиц,
Велел брать в часть коров и куриц,
Вкопал столбы для фонарей...

---

[1] По обязанности инспектора А. Д. Бланк должен был посещать больницы Осы, Оханска, Кунгура, Чердыни, Верхотурья, Ирбита, Камышлова, Шадринска, Красноуфимска, бывать у шахтеров Губахи и Кизела, у соликамских и усольских солеваров.

«Крамольные» стихи Феонова жестоко преследовались цензурой. Его убийственные экспромты передавались из уст в уста. К примеру, адресованные заболевшему губернатору К. Тюфяеву:

Ты охаешь, Кирилл,
Когда сосут тебя пиявки.
А наведи-ка справки,
Как больно там,
Где кровь сосешь ты сам.

Маша прислушивалась, как пели песни другого бывшего жителя преподавательского дома, Павла Емельяновича Размахнина. Лирик, баснописец, драматург, он писал так, что иные песни его пели камские бурлаки.

Вой, ветер осенний, в расселинах гор,
Шуми и скрипи, пробудившийся бор!
Волнуйся, волнуйся сильнее река,
Кипящею пеной кропи берега.
Вой ветра, шум бора, порывы волны
Страдальцу приятней немой тишины.
Меня поразила судьбины рука...
И сердце, и душу рвет злая тоска!

В самые ранние годы складывается душа человека. Дети понимают все. Они живут не только жизнью старших, но еще и строят свою, наполненную светлыми, яркими, уже недоступными взрослым радостями. Они все чувствуют впервые — непосредственно и потому сильнее нас. Часто недомолвка, ужимка ранит больнее, чем прямо сказанная тяжелая правда. И на всю жизнь запоминаются спутники детства, дурны они или хороши.

Отец был строг. Требователен. И все же они знали: усталый, промокший, он должен

заглянуть в детскую, убедиться, что они живы, не простудились, здоровы, спят спокойно, не съели ничего неудобоваримого, что они здесь.

Он думал, что они не слышат, как он заглядывает к ним ночью. А они слышали. И засыпали крепче. Он уходил в столовую, где Екатерина Ивановна поила его горячим чаем (детям ни чая, ни кофе не полагалось. Отец считал, что это вредно действует на нервы. Дети пили молоко или воду). Рассказывала о них.

— Ног не промачивали? — Суровый доктор Бланк опасался промоченных ног и сквозняков.

Лицо танты Екатерины, полускрытое чепчиком с оборками, под которым топорщились папильотки, становилось добрым и растерянным. Она снимала щипцами нагар со свечи.

Переделать зятя не удалось. Были ситцевые платья, холодные, хорошо проветренные комнаты, ледяные обтирания, купанье в Каме до первых заморозков, простая еда, которой дивилась добросердечная кухарка — большая любительница пирогов с вязигой и пирожков с молотой черемушкой.

Отец не был религиозным. В комнате для порядка висели небольшие иконы. В церковь ходили по двунадесятым праздникам, когда отсутствие отца было бы замечено начальством с неудовольствием.

Дети росли не то чтобы безбожниками. Они учили «священное писание», как полагалось, говели, ходили на исповедь, от-

носясь к этому как к неизбежному ритуалу. Любили есть свежие просвирки, слушать рассказы кухарки о великомучениках. Но еще больше о том, как живут в деревне.

На окнах в кухне пламенели огненные юбочки фуксий, медно пахло геранью, не допускаемой в комнаты. Тетка признавала только строгие фикусы, которые было легко мыть, да еще розы, и тут Александр Дмитриевич сдавался. Сам он был не против герани, любил всякую зелень, все живое.

Какой праздник был, когда лепили пельмени! Потом морозили в сенях, так что они гремели в мешках, словно галька. А как рубили капусту для засолки!

Каждое утро дети кипятили сами молоко, варили кашу на завтрак.

В кухне играли в «золото хоронить» на святках, в «барыня прислала сто рублей», катали яйца на пасху, грызли кедровые орехи. Потом Екатерина Ивановна волновалась — не болят ли животы. Святочные затеи поощряла: всегда покупалась большая елка. Сами делали для нее игрушки. На масленой ходили любоваться ледяными статуями Деда-Мороза, Змея Горыныча, русской тройки — этим Пермь славилась. На масленой позволяли кататься в разукрашенных санях. Богатые тройки запрягались цугом или по-особому, по-местному: одна лошадь впереди, две — за нею. Бланки нанимали скромные розвальни, втискивались в них все вместе, тепло укутывались кошмой. Сколько было визгу и смеху! Как весело гремели бубенчики!

Дети росли самостоятельными, простыми, веселыми. Пожалуй, зять переделал Екатерину Ивановну. Она поняла, что, в сущности, они одинаково думают о воспитании детей, и требовала от них чистоплотности, хороших, естественных манер без жеманства, умения все делать по хозяйству; он — физической выносливости, способности ограничивать себя, быть стойкими, сдержанными, честными и внимательными к чужим нуждам. И оба — умения стоять за справедливость.

Трудновато было сводить концы с концами. Требовалось уметь принять друзей, содержать дом, покупать и брать книги в библиотеке, выписывать журналы и газеты. Нужно было то, что целесообразно. Лишнее — раздражало. Хорошо еще, что квартира казенная.

Александр Дмитриевич с некоторой насмешкой относился ко всяким приготовлениям ради парада. Наступал праздник — день основания города, и полагалось отправляться на губернаторский прием в Благородное собрание — пятиколонное желтое здание, заменявшее привилегированному обществу клуб. За неимением родовитого дворянства это привилегированное общество состояло из чиновников.

Губернатор Илья Иванович Огарев — неплохой человек, мало образован, но честен, прям. Почувствовав в Бланке — обычно при встречах с ним молчаливом и нахмуренном — близкий характер, был к нему расположен. Хмурился же Бланк оттого, что Ога-

рев распустил правителя своей канцелярии Всеволода Дмитриевича Попова — самодура и криводушника, а с ним приходилось иметь дело по больничному ведомству.

Бланк, облачившись в парадный сюртук, окидывал свое отражение в зеркале беглым взглядом и говорил: «Вполне франт в калибере». Дети, окружавшие его, смеялись. Они недавно видели с отцом картину художника Орловского — на ней был изображен надутый и глупый щеголь, видимо, едущий с визитами. Ни малейшего сходства с ним не было в скромной, корректной внешности отца, но все чувствовали, что парадный наряд он считает для себя обременительным. С большей радостью отправился бы доктор в городской сад, куда девочек водили гулять, да времени не было. Дети любили и лесок возле дома. Под ногами шуршал не то шелк, не то жесть разноцветных, начинающих ржаветь листьев. Листья медленно осыпались на дорожки, на скамейки. Однажды Маша придумала, что это — платье Осени. «Какие фантазии!» — заключила Екатерина Ивановна, но слушала с интересом. Девочки вообще иногда поражали ее неожиданностями. Анна вдруг написала стихи. Да и вообще были они все разные: Аня и Маша — фантазерки, литераторши, выдумщицы, Люба — тихоня, Соня — плакса, а Катя — себе на уме.

ГОРЕ НАРОДНОЕ

14 сентября 1842 года на воздвиженье день выдался солнечный, светлый. Собрались пойти гулять в городской сад, а позже — в лесок, собрать веток сосновых и опавших листьев для букетов. Весело перезванивались колокола. Одеваясь, младшие девочки шалили. Митя и старшие урезонивали их. Никто не заметил, как оборвался благовест. Вдруг наступившую тишину расколол набат. Бум! Бум! — редко, зловеще бухал колокол, и словно туча набежала на бледно-голубое, высокое осеннее небо. Бросились к окнам, но все заслоняло близстоящее здание — губернаторские конюшни, дальше — лес. Митя сбежал по каменной лестнице и тут же вернулся:

— Пожар! — крикнул он.

Быстро сбросил новенькую гимназическую шинель и кинулся обратно — гимназия горит!

С грохотом промчались пожарные бочки. Медные каски сверкнули на солнце. Город горел с двух концов. Крепкие, украшенные нарядными резными наличниками дома, палисады. По Екатерининской к речке Ягошихе пламя подвигалось, несмотря на усилия

пожарных и населения. Стон стоял над городом, взлетали горящие головни, ветер гнал покореженные огнем листья, бумагу. Обезумевшие от ужаса женщины вытаскивали из горящих домов ребятишек, выкидывали из окон узлы, мебель. Застревали окованные медью яркие сундуки, укладки, век стоявшие неподвижно на одном месте. Горели Оханский переулок, Соликамский. Огонь перекинулся к Петропавловскому собору, захватывал, крушил, сносил все на пути, оставлял без крова, обездоливал. С двух концов загорелась и Торговая. Пылала Монастырская.

«Достигнет? Не достигнет?» — думал каждый.

Наступили сумерки, а в окна врывался багровый свет. К ночи он стал зловещим. Пахло гарью. Где-то далеко лопались стекла и долго осыпались с жалобным звоном. Грохотали обваливающиеся потолки, стены. То и дело проносились с медными колоколами пожарные дроги. Часа в четыре ночи пожар стал как будто затихать. Темнело. Потом вдруг снова полыхнуло золотисто-кровавое пламя. Страшные тени заметались по полу. Детей едва уложили спать. Старшие девочки помогали разместить в зале погорельцев, раскладывали матрацы на полу, умывали ребятишек, поили теплым молоком. Вскоре учителя, растерзанные, всклокоченные, перепачканные, привезли из гимназии связки книг с обгорелыми корешками. Мало. Сгорело почти все — отличная библиотека, кабинеты с наглядными пособиями.

Едва задремали, вернулся отец. С ним Митя. От обоих пахло гарью. Словно забыв о том, что глубокая ночь, они громко разговаривали в столовой. Слышались голоса молодых учителей Ивана Дмитриевича Веретенникова и Андрея Александровича Залежского, голоса старших сестер. Звякала посуда. Накрывали на стол. Кто-то прошел на кухню за самоваром. Измученная Екатерина Ивановна задремала в детской, возле Сониной кровати. Отец все-таки заглянул к ним.

— Сколько людей обездолено,— говорил Веретенников.

— Сундук рукописей Василия Тихоновича Феонова сгорел. Такая потеря,— вторил ему Залежский.

Вдруг стало тихо. Послышался стон. Сдвинулось кресло. Потом в столовой забегали. Машенька спрыгнула с кровати и выскочила из детской. Тетка не проснулась. В столовой отец лежал на двух сдвинутых креслах. Аня наливала из самовара в круглую резиновую грелку горячую воду. Люба откупоривала керамиковую бутылку минеральной воды.

— Не волнуйтесь. Просто устал. Немного. Обычные колики. Пройдет. Подогрей минеральную воду, Люба.

У отца были больные почки. Он уже несколько лет ездил лечиться в Карлсбад[1]. Маша бросилась к отцу. И как это получилось — неизвестно, но рядом оказалась вездесущая тетка.

---

[1] Прежнее (немецкое) название города Карловы Вары в Чехословакии.

Утром пермяки — те, кто мог, уехали в деревни. Других расселили по частным уцелевшим квартирам. По сараям. Губернатор приказал перевести свою канцелярию в преподавательский дом, где жили Бланки. Гимназию разместили в Благородном собрании и в частном доме на Пермской. Съехали директор Попов и некоторые соседи Бланков. Больницы переполнились людьми обожженными, с переломами. И хотя пожар одолели 15-го, много дней еще Пермь дымилась и пахла мокрыми головешками. На всю жизнь Маша запомнила этот запах беды.

Приехали артели строителей. Долго еще не мог успокоиться город. Недавно столь основательная, крепкая, с лабазного вида домами, Пермь превратилась наполовину в черное пожарище. Вскоре выпал первый снег, понемногу скрыл обгорелые бревна, остовы домов, тряпье в скрученных огнем палисадниках. Но долго еще бродили по дворам исхудалые погорельцы с младенцами. Просили Христа ради. Увидев стоявшую под окнами женщину, Маша бросалась на двор, хватала со стола хлеб, кусок пирога, сахар, пряник, грош. Расспрашивать ни о чем не нужно. Она с содроганием смотрела, смотрела, запоминала горе человеческое, сама проникаясь им.

А жизнь шла своим чередом. Жизнь берет свое. В город приехала первая драматическая труппа и ставила водевили в Строгановских соляных амбарах. В доме, где жили Бланки, стало шумно от соседства канцелярии губернатора. Но дни в семье шли по расписанию: занятия языками — сегодня говорили на французском, завтра на немецком,— играли гаммы, экзерсисы. По-прежнему пальцем отстукивала такт Екатерина Ивановна.

Отец, заглянув в классную, когда Анна шила, а Люба читала вслух, усмехнулся и пошутил:

— Запе́ршись, в комнате сидят
Девицы брачные; их было
И мудрых пять, и глупых пять.

Считайте, что вы мудрые. Чье это?

Дети любили угадывать произведение или автора по одной строчке.

— Это Капустин, иерей Капустин, папа,— рассмеялась Аня.

Через несколько дней Митя уехал в Казань. Учиться было мечтой детей Бланка, но пока осуществилась она только у Мити. Ги-

мназия, потом университет. Митя хотел стать юристом.

Девочек, получивших свободное, пожалуй несколько мужское воспитание, невозможно было представить себе в закрытом учебном заведении для благородных девиц, даже если бы отец смог и захотел отдать их туда. Они были несколько свободомыслящи для этого, много и серьезно читали, реально судили о жизни. Их не стесняли муштрой дома, и девочки вырастали разными, естественными, с непохожими характерами.

Отец после недолгого лечения в Карлсбаде (настояли домашние и друзья) вернулся уже не в Пермь, а в Юговской завод, в сорока километрах от города. Назначен был заведовать и заводскими госпиталями. Там ему удалось создать небольшую водолечебницу. В Карлсбаде он серьезно знакомился с постановкой этого дела. Дети с Екатериной Ивановной оставались в Перми. Часть квартиры сохранялась за их семьей.

Измученный нездоровьем и усталостью, лекарь Бланк бился как рыба об лед: хирург, акушер, оператор [1] — все он же, подчас за свой счет приобретал редкие инструменты; сражался в инспекторских поездках с жульем, обкрадывающим больницы. Он впервые завел «белые книги» — учет болеющих на дому, а болеющих было множество. Требовательный к себе и к людям, он не пе-

---

[1] Доктор Бланк имел дипломы по всем этим специальностям.

реносил лжи, небрежения, равнодушия. Был честным гражданином, любящим Россию. Так и детей воспитывал. Долго ли работал на Урале, а голова уже седая в 45 лет. А характер вообще-то веселый, общительный.

В редкие наезды отца домой Маша слушает его разговоры с друзьями, не пропускает ни слова. Мир, оказывается, неблагополучен. А как же бог? Она пробует молиться ему попросту, как молится кухарка, своими словами, чтобы людям стало лучше.

Все тем же молодым учителям, друзьям своим — Залежскому и Веретенникову, твердит отец: предупреждать болезни надобно.

Часто говорят о беде неграмотности, которая мешает и делу отца. Маша знает, как кипит его сердце, а лицо спокойно. Она вырастет и будет, как он. Будет делать добро. Лечить? Учить? Но сначала учиться, знать столько, сколько знают все они.

Очень памятным для Маши стал день, когда на обрыве над Камой собралась большая толпа: дамы в белых длинных платьях, перетянутых модными темными кушаками с золочеными пряжками, под зонтиками, кружевными и разноцветными, в широкополых шляпах; купцы в картузах и поддевках, в шелковых рубахах; гимназисты, солдаты, полицейские с «селедками» — шашками, стучащими по начищенным, но уже пыльным сапогам, семинаристы, громкоголосые и насмешливые купчихи, мещанки, учителя, мужики, приехавшие на базар. Все волнуются, протискиваются вперед, всем хочется увидеть первый буксирный пароход «Пермь».

Невелик он и не роскошен, но украшен трехцветными флагами; гремит медь духового оркестра. Появление его приветствуют все, потому что это растет и пробивается вверх свое, уральское.

Маша с сестрами была на камском берегу в этот день. Праздничное зрелище, конечно, захватывало ее, но ведь она бывала и на лодочных пристанях в будние дни, и там, где строились маленькие рыбацкие суденышки,— люди с топорами, пилами и фуганками в руках были плохо одеты, бедны, песни их унылы. Сегодня их вообще не было видно. Почему?

Всей душой пренебрегая чинами, Бланк хлопочет о введении его с детьми в Бархатную книгу родословия казанского дворянства. Сыну нужно поступать в университет, старшим дочерям пора замуж. Ему самому больше всего хочется уйти в отставку и заняться сельским хозяйством. Капитала он не накопил. Почти все съедали каждодневные нужды. Когда-то, еще в 1838 году, правительствующий сенат выдал ему патент, «из коего видно, что штаб-лекарь Александр Бланк 22 июля всемилостивейше пожалован чином коллежского ассесора».

— Не скажу: с волками жить — по-волчьи выть, о, нет! — говорит отец, усаживаясь с с Машей за шахматы.— Но ради справедливости и нужды быть свободнее.— Помолчав, он добавил: — Ради семьи не пренебрегай тем, чем ты отмечен.

И 27 ноября 1847 года надворного советника Бланка вводят в третью часть родословной книги Казанской губернии. Ему выдается грамота, а сыну — копия протокола.

Дети росли. Отец старел. Приступы участились. Он корпел над отчетами, ездил с ревизиями, уставал, простужался. Ревизовал аптечные склады, принимал лекарства, выписывал их из Санкт-Петербурга. Списывал медикаменты, «потерявшие врачебную силу свою». Излишние оставлял при аптеке для безденежного пользования больных. Писал отчеты о положении врачебных дел в Нижнем Тагиле, Невьянске, Билимбее, Алапаевске, Добрянке, Кудымкаре... Екатерина Ивановна не могла дождаться, когда будет подано прошение об отставке. Бланк получал 285 рублей 90 копеек пенсии в год, но службу не оставлял, что при слабом его здоровье было недопустимо. Не хотел он сдаваться и хоть по малости, да откладывал про черный день, мечтал приобрести свой угол, где могли бы все чада и домочадцы в любой черный день найти пристанище, да и понимал, как врач, что самому ему и детям жить в деревне полезнее, дешевле, спокойнее.

На сей раз карлсбадское лечение не принесло существенного улучшения. А можно было бы наладить отечественные лечебницы. Воды Урала богатейшие, и уверен был Бланк, что, если бы вложить настоящий капитал, заинтересовать врачей, не было бы цены уральским курортам. Ведь за пятьдесят лет до австрийцев открыл лечение во-

дой заштатный русский лекарь Никитин! Задержавшись у детей в Перми, радовался: рассказывал, что растет на Юговском заводе его водолечебница и персонал подучивается...

Облюбовал он в сорока верстах от Казани хутор у реки, с садом, а денег не было. Придется сделать заем, добавить большую часть к малым сбережениям, сделанным за долгую трудовую жизнь. Под Казанью, в своем углу, будет и возможность лечить, как он хочет. Разведут цветник, сад, огород; может быть, займутся лекарственными травами. А климат! Да и девочкам будет где жить, когда его не станет. О конце жизни Бланк думал и говорил вслух, как подобает лекарю и философу, спокойно, без горечи, желая оставить после себя хорошо приобранное рабочее место.

Но пришлось забыть о переезде и о покупке имения — вспыхнула эпидемия холеры. Предстояло известить всех заводских жителей и рабочих о предохранительных средствах по «наставлению». Собирали учителей, священнослужителей, чтобы читали его с амвона «с внушением». Организовали специальные палаты в больницах. Всюду только и разговоров было что о холере. Понаехали студенты-медики. Пришлось прекратить купания в Каме. Дóма обливались дождевой водой, окуривали обувь и верхнее платье после улицы серой, мыли полы и деревянные стены хлорной водой. Обтирались «уксусом четырех разбойников». Фруктов не ели.

Исподволь Екатерина Ивановна укладывала сундуки, усаживала девочек за починку и шитье.

Маша зачитывалась сочинениями Искандера (Герцена), невзирая на то, что тетка считала ее малолеткою. Чтение в семье в общем было свободное. Особенно трогали сердце Маши слова о Сибирском тракте:

Через меня идут в город скорби,
Через меня идут на вечную муку.

За что Герцена сослали? За то, что хотел жизнь народа изменить? В ее представлении это означало: не будет холеры (она думала как дочь врача), не будет обездоленных пожарами погорельцев, голодающих, нищих, много будет грамотных даже в деревнях (все-таки жила она среди учителей), не будут крепостных сечь помещики. Бог весть откуда знала она о том, как в Смоленской губернии, еще молодым лекарем, отец осматривал крепостную — беременную женщину, которую барин избил плетью... Отец составил об этом бумагу. Легче житься ему от этого не стало.

Лучшего, честнейшего человека, чем отец, Машенька представить себе не могла. Во всем с ним соглашалась, даже когда обидит. Маленькою услышала, как сплетничали в саду две пышные чиновницы и называли его «деспотом» за то, что детей приучал холодной водой обтираться. Покраснев, как шиповник, сказала про себя: «Старые дуры!», чего уж никак нельзя было делать даже мысленно. Решила непременно вы-

учиться и учить деревенских детишек грамоте, лечить. Сколько раз они с теткой лечили маленькую Сонюшку, то и дело попадавшую в беду!

Маша вытянулась и стала еще больше походить на отца — угловатая, со своими большими, то печальными, то задорными, горячо поблескивающими глазами. Крепкая, никогда не хворавшая, ловкая, гибкая, небольшого роста, но казавшаяся высокой, потому что была стройна, как мальчик, с нежным румянцем, она все еще носила ситцевые платья, только немного подлиннее. Очень скромна выросла, добра, но и тверда характером. Сестры Бланк были на редкость музыкальны, но никто из них не играл на рояле с таким пониманием музыки, так вдохновенно, как Маша, девочка тринадцати лет.

В 1846 году отец уехал служить в Златоуст инспектором пяти заводских госпиталей горного округа. Перебралась туда вскоре и вся семья. А через год Бланк подал в отставку. Купил, наполовину заняв денег, наполовину заложив его в Дворянском поземельном банке, именьице Кокушкино. «Яна сала — Кокушкино тож»,— значилось в документе.

Пермь — уж на что нешумный город, а тишина над речкой Ушней оказалась ни с чем не сравнимой. В Кокушкине семью Бланков встретил совсем другой мир.

Кудрявая зелень лесов, море ржи с его то светло-зелеными, то золотыми тяжелыми волнами, скрывающими узкие межи; синие искры васильков; жаркое, иссушающее солнце на побелевшем от зноя небе днем и резкий холодок вечеров, когда приходится накидывать теплый платок на плечи... Все и радовало, и было непривычным. Совсем рядом две деревни: русская и татарская. Дети скоро перезнакомились с ровесниками в обеих деревнях.

Казалось бы, все складывалось хорошо, но зимой в 1850 году внезапно умер Митя — студент, юноша полный надежд...

Говорить о своих бедах у Бланков не любили. Отец деятельно работал на новом месте.

Флигель, в котором обосновалась семья, требовал ремонта. Большие изразцовые печи дымили. Деревенские мастера перекладывали дымоходы не один раз, но так и не согревали печки просторных пустых комнат.

Нужно было вскапывать, засеивать, окучивать большой огород, разбивать цветники. У девочек были свои грядки и клумбы, за которые они и отвечали. Танта на лошадях ездила в Казань за семенами и другими покупками по списку, составленному Александром Дмитриевичем. Другого сообщения с городом, находившимся в сорока верстах, не было.

Аня вышла замуж за Веретенникова и уехала.

Тишина. Тишина. Первое время Соня просыпалась по ночам и плакала. Маша ее утешала, а у самой глаза слипались. Она так уставала за день, что ни шум, ни тишина не могли ее разбудить. Никогда не было такого простора, такой свободы ее занятиям, как здесь. Если б не тетка, Маша поначалу и музыку могла бы забросить. Но танту было невозможно вывести из раз и навсегда установленных ею правил. И Маша тщательно мыла перепачканные в земле руки, нывшие от водяных мозолей после работы мотыгой, и садилась за экзерсисы. Прежде дивились ее игре, потому что старание, неустанные упражнения сделали технику незаметной, легкой. Чувство вносило в исполняемые девочкой вещи мягкость. Теперь Маша находила в музыке жизнь. Как бы рассуждала, играя, вникала в душу композитора. Дивилась этому. Смелела, добавляла что-то свое, мечтала, тосковала и радовалась музыке. Она полюбила оперы. Читая либретто и играя, представляла, что волновало героев. Здесь открылась ей велича-

вая скорбь и гордость музыки «Аскольдовой могилы». Здесь, в деревне, она почувствовала богатство русских мелодий этой оперы. Удивляясь, играла, играла, не замечая, как слушают ее Екатерина Ивановна с Катей, остановившись в дверях. Зала была еще холоднее пермской. Зимой кончики пальцев теряли чувствительность.

Александра Дмитриевича радовала возможность проводить в жизнь водолечение и свои правила диеты. Еда сама по себе была простая, здоровая, разнообразная — овощи, молоко, сметана. Дети любили сбитые сливки. Как-то первого апреля вдруг пошел мокрый снег. После «капризного утра», когда Соня упрямилась и всех расстроила, отец сказал: «Вот и получите на третье битые сливки». Сели обедать. На третье в самом деле подали большие пышные комки сливок, но, дотронувшись до них, дети поняли, что это снег. Соня надула губы. Все растерялись. Отец сказал только:

— С первым апреля!

Соня совсем разобиделась. Александр Дмитриевич вздохнул: «Великое разочарование! Такие ли жизнь приготовит...»

Годы шли. По утрам Александр Дмитриевич принимал больных крестьян. Маша и Люба ему помогали. Когда отец уезжал, они понемногу заменяли его. Подруг в деревнях нашлось много. Маша учила их грамоте, собирала на святках ребятишек, иг-

рала им на рояле, пела с ними, запоминала местные песни. Читала зимними вечерами.

Наступила осень. Зачастили дожди. День и ночь шуршали тяжелые капли по крыше. Иногда днем было так темно, что казалось, наступили сумерки. Зато как остро пахла земля, трава, мокрые цветы! Маша распахивала окошко. Любаша — отчаянная — купалась в речке до самых заморозков. Только Соня осенью да зимними вечерами часто плакала, не находила сил перенести скуку. Все мечтала уехать куда-нибудь. Короткие наезды к старшей сестре в город ее только дразнили. А Маше не хватало времени. Ей не нужно было искать занятий.

Вышла замуж и Катя за помещика Алехина, но вскоре овдовела. Сыграли свадьбу Любы с пермским чиновником Ардашевым. Сестры уезжали. Но не пустело Кокушкино. Да и летом собирались все вместе. В 1856 году Кате сделал предложение давно любивший ее Залежский. Новая свадьба.

Андрей Александрович Залежский организовал в Перми, куда уехали молодые, частную библиотеку. Городская совсем захирела. А больше полутысячи книг, да еще журналы по тем временам были солидным собранием...

Бланк не ошибся в своих молодых друзьях, ставших мужьями его дочерей. Залежский — учитель, инспектор гимназии, создатель и директор первого в Перми реального училища, где он преподавал алгебру, стал крупным общественным деятелем, одним из организаторов Пермского страхового обще-

ства. Увлеченный участник работ статистического комитета, почетный мировой судья, а позже участковый судья, он поселился на Юговском заводе, где когда-то работал доктор Бланк.

Много лет спустя сын его и Кати Александр поехал врачом в далекую глухую Чердынь. Об этом мечтала и Маша. Как многие, служившие народу, передовые люди России, он умер молодым от туберкулеза.

До всего этого еще далеко. Сейчас летит снег на кокушкинские поля, еще юность только начинается для младших сестер.

За окнами раздался стук колес. Во двор въехал тарантас. Возница-татарин выгрузил плетеные пестери [1].

— Что такое? — Конечно, первой выскочила Соня.

Пестери были, по-видимому, тяжелые. С трудом втащили их в кухню.

— Поди, золото привез? Богатый будешь! — шутил возница.

Соня, переступая с ноги на ногу, нетерпеливо просила:

— Открой, Маша, открой же!

Сестры едва подняли тугую крышку плетеного короба — книги! Значит, папа подписался в Казанской библиотеке! Ура!

— Рад? Значит, читай! Получай, что тебе дороже золота!

— Дороже! Дороже! Спасибо! Заходите чай пить. Замерзли?

На книги набросились с азартом. Спорили. Читали вслух, а то, завернувшись в один

[1] Плетенный из бересты короб.

пуховый платок обе, Маша и Соня, читали журнал, с нетерпением следя, когда отставшая закончит страницу.

Книги, природа, музыка, работа. Так шли годы в тишайшем Кокушкине. Стремление к знанию объединяло его обитателей

Маша далеко перегнала сверстниц, учившихся в гимназиях и институтах, глубиной знания языков, музыки, русской и иностранной литературы — спасибо Екатерине Ивановне! Не хватало знания точных наук, но были знания в естественных, и в мужских-то гимназиях преподававшихся слабо. Спасибо отцу! Важнее же всего было ясное видение жизни, мира, его подчас и грубых явлений. Маша мечтала добиться диплома учительницы. Она знала, что можно сдать экзамены экстерном. Поездки к сестре Ане укрепляли ее в этом стремлении, и она занималась, сидела над учебниками больше всех.

Все оживало летом и на каникулах, когда приезжали старшие сестры. Столько привозили новостей, что разговоров хватало и после их отъезда на многие вечера!

Ребятишки сестер носились по саду, по лесам и лугам, купались до того, что кожа «щетинилась».

Отец сказал дочерям:

— Кокушкино ваше! Пять дочек, пять частей, как пять пальцев руки. Вы дружные и не поссоритесь. Оно вас объединит и без меня.

За вечерним чаем Иван Дмитриевич Веретенников рассказывал:

— Пишут мне — в Перми открылся теле-

граф. Военный госпиталь со всем имуществом передан Александровской больнице.

Александр Дмитриевич на минуту задумывался. Добрые силы найдутся. Жаждущих посвятить себя полезному делу немало. Растет и его Александровская больница, которой отдано столько сил души!

Маша росла. Стала взрослой девушкой. В ее годы деревенские подруги выходили замуж, становились матерями, увядали на непосильной работе. Она не замечала, что годы идут. Жизнь была полна. Труд осмыслен. Маша радовалась приезду сестер еще и потому, что ближе видела их семейную жизнь, их счастье, детей, но не завидовала. Веселая, энергичная Аня, увлекавшаяся стихами, и та словно подчинилась семье, а ведь Иван Дмитриевич — человек незаурядный, передовой. Нет, она замуж не выйдет. Жизнь ее будет посвящена народу. Она станет учительницей. И Соня сочувствует ей.

Март 1861 года. По всей России звонили колокола. В церквах, в благородных собраниях, на крестьянских сходах читали манифест Александра II. Называли монарха «освободителем». Он отменил крепостное право, а перемен с февраля, с момента «дарования», не последовало. Слухи ходили в народе, что бумагу читают фальшивую, а настоящую спрятали. Помочь народу стремились все передовые люди страны — «в народ» уходили самоотверженные учительницы, молоденькие «повивальные бабки» (так

в те времена называли акушерок), даже Аня — дочка Анны Веретенниковой (Маша готовила девочек в гимназию), серьезная разумница — заявила тете Мане, что будет доктором, как дед.

На торжественном молебне в деревенской церкви Бланк стоял в парадном, немного тесноватом сюртуке и терпеливо слушал службу. В душной, туманной от ладана, освещенной мерцающими тонкими желтыми восковыми свечами церкви поблескивали дешевые оклады икон. Потемневшие лики святых глядели печально и недоуменно. Было тесно. Пахло новым коленкором, кумачом. В отворяемые на паперть двери врывалась предвесенняя свежесть и колебала легким дуновением золотые слабые огоньки.

Посреди молебна, крестясь и кланяясь иконам, с трудом протискался в потной толпе прихожан к Александру Дмитриевичу человек в армяке. Он наскоро приглаживал стриженные «под горшок» волосы. Остановился за спиной Бланка. Осторожно дотронулся до его плеча. Бланк обернулся.

— Извините великодушно, Александр Дмитриевич... Резаные-с. Правда, инородцы... По праздничному делу...

Доктор вопросительно поднял брови, но в ту же секунду, торопливо перекрестившись, без этого не полагалось покидать храм, стал пробираться к выходу.

— Быстро съездите ко мне за инструментами. Дома знают, какой саквояж дать.

Ни в церкви, ни дома, ни днем, ни ночью

не было покоя. Да и не искал его доктор Бланк, а резня по праздничным дням — дело обычное. Выпьют и...

Первые надежды на великие перемены не оправдались. Летом сестры приехали возбужденные, передавали Маше слова царя, о которых толковали все в городе: «Надо торопиться дать свободу сверху, пока народ не возьмет ее снизу». И она, и отец постоянно бывали в деревнях, знали, чем живет народ. Освобожденные от барщины и земли, крестьяне вынуждены были землю арендовать. Поднимались богатеи, а бедноте — хоть по миру идти.

— Выучусь — буду учить! — твердила Маша.

— Вся беда в темноте! — повторяла она сестре Анне, рассказывала старшей, что грамотные крестьяне живут чище, хозяйствуют лучше, лечатся. Переписывала в тетрадь стихи Некрасова.

Стать учительницей! Делиться с народом богатством, единственным, какое у нее было,— знаниями. Это и манило ее в город, где надеялась она наконец сдать экзамен на право преподавания в начальной школе. Вот-вот сбудутся ее мечты. Она и Соню уговаривала сдавать экзамены. И, кажется, впервые не спала летними ночами. Лежала в постели, не задернув занавески на окнах, погасив лампу, и слушала, как шевелятся ветки сирени, расправляясь и ложась на подоконник. Смотрела в звездное небо, проглядывавшее между деревьями. Сон не шел.

Проснувшись с рассветом, Маша, как всегда, накинула на плечи легкий пушистый оренбургский платок, выбежала на крыльцо посмотреть погоду. И вдруг почувствовала, как остро пахнет мокрая и уже согревающаяся земля. Легкий ветерок холодил шею в широком вырезе платья, щекотал завитком темных густых волос ее лоб. То горячее, что пряталось под серьезной сдержанностью, заметно проступило на еще не тронутом загаром лице.

Заскрипела калитка. Маша оглянулась. Сквозь голые кусты сирени замелькало зеленое платье. Молоденькая татарка — Машина ровесница — несла на руках смуглого малыша. Платок ее был повязан так, как его повязывают только татарские женщины — два конца под подбородком, два распластаны по спине. Тоненькая нитка бледных кораллов выглядывала из-под платка. Лицо гостьи было озабоченным.

— О! Марзия, что случилось?

— Файзулла больной, Машенька... Не ест. Плачет.

Маша увела женщину в небольшую пустую комнату, в которой отец обычно принимал больных. Мальчик тер кулачком нос и кряхтел. Острые, прямо-таки вишневые глазенки его блестели.

— Ох, шутишь, Файзулла,— покачала головой Маша, называя мальчугана полным именем. Она осмотрела ребенка.— Барабан? — пошутила она, увидев его тугой вздувшийся животик. Файзулла покосился на нее и нерешительно усмехнулся.

— Воды сырой утром натощак давала? Нет? Дай. Или кислого молока. Погладь живот вот так, как стрелки часов идут,— она показала на ходики, тикающие на стене. Легонько помассировала живот мальчишки.— Ничего серьезного. Запор. Не поможет — ложку касторки дай.

Вот и все. А отпускать ребенка не хотелось. Она осторожно прижала к себе его теплое, худенькое, но крепенькое тельце и рассмеялась. Марзия с мальчиком ушла. А Мария, проводив их, так и осталась стоять на крыльце. Пора было собираться в дорогу. Уже послана телеграмма в Пензу. На новоселье ждала Анна. Несколько месяцев назад Иван Дмитриевич переведен был по службе туда из Самары. Преподавал в Пензенском дворянском институте и заведовал библиотекой. Страстный книжник, он радовался этому любимому делу, имея возможность заниматься им по должности.

Книги и журналы в Кокушкино привозили из Казани нерегулярно, оказиями. По весенней распутице дорогу так раскваши-

ло, что и писем ждали неделями, но не променяла бы Маша кокушкинское «затворничество», наполненное живым, человеческим делом, на городскую счастливую семейную жизнь Анюты. Анна, в этом Маша была уверена,— самая умная, самая талантливая из сестер, много читала, писала стихи, легко поддерживала разговор о чем угодно, собирая у себя интересных людей — сослуживцев мужа, передовых, серьезных; уверенная в себе, нестареющая Анна все-таки что-то утратила из драгоценного мира, объединявшего сестер Бланк и их отца. Может быть, умение, не задумываясь, не задавая вопросов, идти навстречу чужой беде, чувство связанности со всем, что делается на свете, с людьми, которым трудно, пренебрежение к житейским мелочам, словом, то святое отцовское беспокойство, удручавшее поначалу Екатерину Ивановну. А оно для Маши — дороже всего.

Веретенниковы ждали Машу. Когда она, сбросив капор и тальму, серую от дорожной пыли, перешагнула порог светлой прихожей, ее сразу охватили привычные, где бы это ни происходило, родные домашние шумы, запахи, голоса, свет. Захлопали двери где-то в глубине квартиры. Затопали ребячьи ноги. Послышались легкие шаги Ани. Зашуршало ее длинное, широкое платье. Вся семья окружила Машу. В открывшуюся дверь столовой был виден под большой висячей лампой стол, накрытый накрахмален-

ной скатертью. Пыхтит самовар. Розовеет пирог. «С вязигой! С вязигой! — кричат племянники, помогая Маше раздеваться.— Горячий! Как раз приехала!» Анна добавила: «И никого чужих!» Знала, что первые минуты встречи захочется побыть в тесном (хотя и очень обширном) семейном кругу, рассказать новости, интересные только им, расспросить обо всем.

Атмосфера дружбы, привязанности друг к другу, понимания и уважения старших к младшим и младших к старшим все больше охватывала ее, и Маше уже было неловко за свои «придирки», как она называла про себя мысли о семейной жизни сестры.

Пока Маша мылась, переодевалась — у них это с детства делалось мгновенно — Анна строго оглядела ее и заключила: «Хороша!» Маша смутилась. «Ничего не рассказывай. Все — за столом!»

В столовой обо всем пришлось докладывать подробно: отец держится, но приступы мучают его часто. Очень увлечен садом, медицинским пунктом. Яблони привились. Плохо зимуют гладиолусы. А сирень все равно, хоть папа и не любит анемичную, к Новому году «выгоним» в теплице. И гиацинты. В деревнях все говорят о «пропавшей грамоте». Очень неспокойно. Тяжело живется Любаше в Перми. Ардашев болеет. Только и отдыхают, когда попадают в Кокушкино.

Анна хотя и была своенравна, порывиста, а не любила ничего крикливого, резкого,

подчеркнутого, громких фраз и стриженых нигилисток. У нее самой толстые темные косы тяжело обвивались вокруг головы. Но она — такая «русская боярыня» с виду — была в курсе всего, чем жило общество передовых людей.

— В Пензе много старых знакомых из Самары. Вот увидишь!

Об экзаменах, к счастью, никто не спросил. Забыли или из деликатности? Не хотели задевать больное место?

— Платья покажи...

Сестры ушли в спальню. Глава семейства на время приезда Маши был переселен в кабинет. Платья Анна одобрила, а прическу нашла чересчур скромной. В Питере классные дамы ведь и то придумали выход: локоны к шляпам прикалывают. В институте — монашки, а на улице — как надо! «Как надо!» — любимое слово танты Екатерины! Так и пахнуло детством.

На следующий день, когда Маша занималась с племянницей Любой французским чтением, начали собираться гости. «Раньше обычного»,— констатировала насмешливо Анна и лукаво покосилась на сестру. Сегодня она причесала Машу по-новому: два тугих длинных локона сбегали из строгой прически на плечи.

Первым пришел Владимир Александрович Ауновский, прозванный «соловушко» за мягкий, несильный, но приятный голос. Ауновский шутил, что, когда ему аккомпанирует Мария Александровна, у него голоса прибавляется.

В этой семье лукавить не требовалось. Да молодые учителя и так знали: должна приехать Машенька, и у каждого нашлось неотложное дело до хозяев дома.

Когда Маша и Ауновский пели дуэт, в гостиную вошел молодой коренастый человек с широкоскулым лицом. Несмотря на учительский сюртук, у него был вид студента. Пожалуй, пришедший единственный не знал о приезде молодой родственницы инспектора. А если бы и знал, что ему до нее? Еще в передней он передал Ивану Дмитриевичу какие-то книги и расспрашивал о новых книжках «Современника» со статьей Чернышевского. Имя Николая Гавриловича было у всех на устах. На пороге гостиной учитель остановился, как бы споткнувшись. Музыку в этом доме он слышал постоянно. Она помимо книг притягивала его сюда. Что-то необычайное послышалось сегодня в игре незнакомой барышни. Ее спокойный голос, в котором чувствовалась сдерживаемая сила, разом встревожил его, смутил и обрадовал. Илья Николаевич обдернул сюртук и стряхнул с рукава несуществующие следы мела. Он смотрел на небольшую, очень прямую, стройную фигуру девушки. Осторожно, боясь помешать, подвинулся так, чтобы увидеть ее лицо. Разлет бровей, вздрагивающие ноздри прямого короткого носа, чуть выдающиеся вперед губы. Больше он уже ничего и никого не видел.

Их познакомили:

— Наш старший учитель, Илья Нико-

лаевич Ульянов,— представила Анна Александровна.

«Сам Николай Иванович Лобачевский считал его подающим большие надежды»,— сообщила она сестре позже.

То, что он не сказал ни слова о ее пении, хотя глаза его, слегка раскосые, говорили яснее слов о произведенном впечатлении, тронуло Машу. С первой встречи оба потянулись друг к другу. Первый раз в жизни услыхав, как увлеченно говорит молодой физик о своем предмете, как вдохновенно светится его лицо, она всем своим существом поняла: родная душа! Его рассказы об устроенной им в Пензе метеорологической станции напоминали ей увлеченные рассказы отца о водолечебнице.

— Как все естественно в вас,— сказал ей Илья Николаевич и ничего другого сказать не смог. Да и не нужно было. Это было главное. Она поняла. Смутилась. Не ответила. Но уже иначе ни думать, ни чувствовать не могла: «Я дома!» — вот оно и пришло. Но уступать не хотела. Хотела быть ему равной. Занимались вместе английским, подолгу говорили, забывая грамматику и упражнения, а просто так... В своем стремлении служить народу, просвещать его Илья Николаевич был ей самым дорогим, самым близким человеком. Не так безнадежно бедна семья Бланк, а образования дать всем детям отец не мог. Илья же Николаевич говорил о просвещении всех: и самых неимущих, и инородцев,— о народных школах. «Поработать бы с деревенскими ребятиш-

ками! — говорил он.— После реформ это стало возможно!»

Илья Николаевич рассказывал о своем старшем брате Василии Николаевиче, заменившем в семье умершего отца. Разница в годах между братьями была большая. Василий Николаевич сам мечтал учиться, но, услышав от Илюшиных гимназических учителей одобрительные слова о его способностях, все решил тут же. Илья понимал, что свое будущее, свои надежды Василий отдавал в эту минуту ему. Умный, честный, трудолюбивый, Василий обладал талантом любви и самоотверженности. Младший брат, скрепя сердце, пытался отказаться от жертвы, но Василий — мягкий, казавшийся иногда даже нерешительным,— настоял на своем. У Маши холодок пробежал по спине, когда она слушала неторопливый, может быть, нарочито спокойный рассказ Ульянова.

Илья Николаевич мог ответить брату только трудом, заботой о семье. Способный, со свежим, непосредственным восприятием, с жадным интересом к жизни, он упорно учился и стал широкообразованным и разносторонним человеком, в подлинном смысле слова учителем юношества. Сознавая свою силу, увлекал детей тем, что любил сам. Но вот встретил эту барышню — музыкантшу, певицу — и почувствовал себя будто ученик. Его поражало, как легко она владела знаниями. Ему приходилось встречать курсисток — самоотверженных девушек, бегавших по урокам, учившихся, дымивших па-

пиросами, полуголодных, как сам в студенческие годы. Встречал и пустых нарядных барышень — эгоистичных, болтливых. Машеньку невозможно было представить себе ни с папиросой, ни сплетничающей в гостиной.

Теперь поездки в Пензу для Маши наполнились особым смыслом.

Илье Николаевичу его старый друг и учитель Смирнов предлагал ехать в Нижний Новгород на должность старшего учителя физики и математики. Нижний был большим богатым городом, просвещенным и интересным. Ульянов советовался с Машей. Там возможность деятельности будет шире. Она согласилась. А дворянский институт в Пензе закрывался — капиталы дворянские оказались ненадежными. Имущество передавалось гимназии. Иван Дмитриевич Веретенников оставался как бы смотрителем дома и имущества института. Временно.

Илья Николаевич любил и умел читать вслух, когда женщины были заняты работой, рукоделием. Подходило рождество, и Маша не шила, не вязала, а мастерила с детьми игрушки. Она внимательно, как откровение, слушала Чернышевского. Илья Николаевич, не знавший в детстве ни елки, ни таких приготовлений, чувствовал, как екает сердце при виде ловких маленьких рук, перепачканных клеем, занятых милой, непривычной, забавной для него работой.

«Женщина должна быть равна с мужчиной»,— писал Чернышевский в альбом своей невесте. Об этом знали все, и все повторяли

эти новые и замечательные слова. Маше думалось, что они так верны, так правдивы, как будто идут из самой глубины души, как будто даже это ей самой они придумались — настолько близки.

Неожиданно, всегда такая здоровая и крепкая, Маша заболела. Слегла.

— Пустяки. Пройдет,— говорила она, совсем как отец.

Илья Николаевич ходил с тяжелой головой, подремавши кое-как, на ходу, между прочим... Врачи, нашедшие инфлуэнцу, да так и не справившиеся с нею, растерялись. Анна дала знать отцу.

Александр Дмитриевич бросил все дела. Екатерина Ивановна вытащила из сундука пересыпанный нюхательным табаком и полынью большой дорожный бобриковый чапан. Помогла надеть его поверх шубы. Доктор Бланк захватил саквояж с интрументами и пустился в путь. Зима стояла метельная. Сани разъезжались по накатанной дороге, тонули в сугробах. Не было человека сдержанней доктора Бланка, но никто не узнал бы его сейчас. Машенька в опасности! Машенька, самая любимая. Сминая ногами в высоких фетровых ботах кошму полости, он стоял, держась за плечи возницы, и повторял только: «Скорее! Скорее!» На него было страшно смотреть.

Приехал он, когда наступил перелом. Путаная картина течения болезни сбивала с толку врачей. Оказалось — воспаление легких. Сменяя друг друга, Анна и Александр

Дмитриевич дежурили у постели Маши. Отец вглядывался в ее то пылавшее, то становившееся серым лицо. Иногда, не вытерпев, Илья Николаевич приходил и просился «поддежурить». Александр Дмитриевич в эти длинные зимние ночи ближе узнал избранника дочери, находил умницей и порядочным человеком. Однако считал, что муж Машеньки мог быть красивее, представительнее, и тут же мысленно бранил себя за суетность на старости лет. Илья Николаевич становился ему все ближе взглядами на жизнь, непререкаемо прямой какой-то верой в назначение человека. Сидя в креслах, поставленных одно против другого возле Машиной кровати, они говорили о новом редакторе Журнала министерства народного просвещения Константине Дмитриевиче Ушинском, о Лобачевском, звавшем людей не искажать природу, а помогать ей. Отец слушал глуховатую, с мягким «р» речь Ильи Николаевича. Да ведь это были мысли и самого Бланка. Разоткровенничавшись, он рассказывал Ульянову о принципах физического воспитания, о водолечении и даже подарил ему свою брошюру «Чем живешь, тем и лечись», оказавшуюся случайно в саквояже.

Весной 1863 года Маша снова приехала в Пензу. Им с Ильей Николаевичем не терпелось все высказать друг другу. В оценке чувства долга оба сходились. А в чем не сходились? Как будто и не было такого. О

своей работе, в особенности с Лобачевским и профессором Осипом Антоновичем Больцани, он говорил благоговейно. Называл лучших своих учеников — Ишутина, Страндена, их друга — Каракозова, постоянно бывавших у учителя Захарова, с которым Илья Николаевич поселился вместе. Готов был находить в них все новые человеческие качества и таланты.

Маша всматривалась в его лицо, чем-то напоминающее ей лицо Григоровича, знакомое по портретам. Может быть, длинные волосы, причесаны похоже... Ее, аккуратистку, почему-то не коробило пренебрежение Ильи Николаевича к внешности, костюму. Очень уж он был свой.

Однажды они заговорились допоздна. Уже извинившись, ушла Анна, сначала по хозяйству, а потом скрипнула дверь ее спальни, и все затихло. Опомнились, когда стенные часы пробили полночь. Ульянов взглянул на свои черные карманные, купленные из первого заработка (других ему и после купить не привелось). Еще столько надо было сказать друг другу! Он смутился, заторопился, прощаясь, неловко поцеловал Машину руку. Рядом с сильной, но хрупкой на вид Машей невысокий Илья Николаевич казался выше. Она проводила его до прихожей. Прислуга давно спала. Маша заперла двери. Погасила лампу. Постояла минуту в темноте, переполненная тем, что вошло в ее жизнь. Мелькнул за кисейной занавеской столовой зигзаг молнии, ударил гром и хлынул ливень. Никогда гро-

за не пугала ее. Отец приучил их не бояться грозы, метели, бури, а тут впервые сердце тревожно сжалось страшной тоской, словно вот-вот случится несчастье. Представила: Илья идет без шляпы, под дождем. Промочил ноги. Обязательно с ним произойдет что-то дурное. Он не так здоров, как они. Простудится. И уже до конца поняла, что роднее, ближе, чем он, человека в ее жизни не будет. Поняла, что отвечает за этого человека. Она подняла голову и почему-то (сама не могла потом понять, почему) подумала упрямо: «А экзамены нынче сдам».

И сдала. Ни за что не хотела держать в Пензе — все знали ее как свояченицу инспектора, а она не желала поблажек, снисхождения. Написала прошение в Самарскую мужскую гимназию. В Самаре жила Соня, ставшая Лавровой. Она тоже собиралась сдавать экзамены. Учительский кружок — сослуживцы Веретенникова, их близкие друзья с тревогой ожидали Марию Александровну из Самары. Уважение и удивление вызывала эта девушка твердостью характера, принципиальностью, рассудительностью и в то же время горячей мягкой женственностью, отличавшей ее от обычных «эмансипе́».

Маша вернулась из Самары с блестящими глазами, со свойственной ей только ей улыбкой в уголках губ.

Соня на экзамены не явилась.

Так и осталось лежать ее прошение в архивах мужской Самарской гимназии (женской там не было) в старинном скучном до-

ме купца Вощакина на углу Заводской и Саратовской улиц с пометкой: «За неявкой экзамена не было».

Неявка — не каприз. Жизнь Сони — девушки чувствительной — складывалась трудно. Со своим будущим мужем Лавровым, только что овдовевшим, она познакомилась там же в семье Веретенниковых. У Иосифа Кондратьевича уже был шестнадцатилетний сын, а летом, как раз когда нужно было сдавать экзамены, у Сони тяжело заболел и умер первый их ребенок — Катюша, которой был всего год и три месяца. Позже еще пошли дети, и стало не до экзаменов.

Горячо сочувствовала Маша сестре, но бланковская сдержанность, умение взять себя в руки помогли. Она сдала экзамены и вернулась с драгоценным «Свидетельством». Положила его перед Анной на бархатную скатерть круглого стола в гостиной. Анна торжественно прочла:

«Дано сие дочери надворного советника девице Марье Бланк в том, что, вследствие поданного ею прошения о желании получить право на первоначальное обучение чтению и письму по-русски, немецки и по-французски, она была допущена к испытанию в Самарской гимназии и оказала в законе божием, русском языке, арифметике, немецком и французском языках вполне удовлетворительные сведения. А потому ей, Бланк, и дано право на преподавание вышеупомянутых предметов, но без выгод и преимуществ, предоставленных званию домашних учительниц. Июля 15 дня 1863 года.

В верности всего здесь сказанного свидетельствую с приложением печати Самарской дирекции училищ.

Исправляющий должность директора училищ Самарской губернии,

Статский советник Виктор Варенцов».

Говорили, что арестованный Чернышевский в крепости написал роман. Хорошо назвал: «Что делать?» Читали переписанные от руки главы.

Маше казалось необязательным устраивать именно швейные мастерские. Можно быть учительницей, врачом, работать в библиотеке. Но как это еще недоступно для каждого, кто бы захотел! Ей становился все яснее смысл того, как она жила и как должна была жить дальше.

Свадьбу сыграли летом, 25 августа, в Кокушкине. Кокушкино стало гнездом, в которое сестры стремились с радостью и с горем — всегда.

А радость и горе шли рядом — вскоре после Машиной свадьбы умерла танта Екатерина[1]. Было ей 76 лет. Умерла, словно решила, что долг выполнен, что «так надо».

---

[1] Екатерина Ивановна Эссен умерла 7 сентября 1863 года, похоронена в Кокушкине.

Трудно приходилось молодым в Нижнем. Казалось бы, все ладно. Есть понимание, единомыслие. Шутили: «Мы с тобой заговорщики...» С полуслова, с полувзгляда в самом большом обществе понимали друг друга и, оставшись вдвоем, чувствовали себя лучше всего. Но они не были затворниками.

В Нижнем Новгороде, городе культурном, театральном и музыкальном, у Ульяновых образовался свой дружеский кружок. Сюда еще раньше переехали Захаров, Ауновский, Тимофеев. Собирались у них дома, на казенной большой квартире, и у сослуживцев.

Илья Николаевич преподавал в гимназии и на курсах лесных таксаторов, набирал уроки. Нужно было строить семью, дом, помогать сестре. Хотел сделать, чтобы полегче было жене справляться с хозяйством. Она с детства привыкла хозяйничать, умела извернуться с малыми возможностями, экономить, «освежать» платья. Его трогало, когда она раскладывала деньги на кучки и строго соблюдала правильность рас-

ходов. Она умела рассчитывать и не унывать.

Увлекаясь, рассказывал он ей о своих таксаторах — оценщиках леса. «Тут соприкасаешься с народом взрослым. Они так сознательно относятся к занятиям, им это и в самом деле необходимо».

Предложили должность инспектора гимназий — согласился. Придавал этой должности значение высокое — воспитания, руководства. Очень верил реформам, хотел сеять разумное, доброе, вечное.

Все чаще отлучался из дома. И вот снова в жизнь вошло ожидание. Она с горечью чувствовала, что одно дело — ждать отца, другое — мужа. Взглядывала в зеркало и видела, не могла не видеть, что похорошела. Вспоминала, что в любви Ильи есть оттенок восхищения и благодарности. Быть одной становилось все труднее. Плакала. Вспоминала нетерпеливую Соню, не умевшую найти занятие для себя в Кокушкине. Делалось стыдно. А все равно тосковала, хотя весь день был занят. Преподавать не удалось — ждала ребенка.

...Девочку назвали Аней. Она родилась в августе, через год после свадьбы. Илье Николаевичу казалось, что дочка — вылитый портрет жены. Ей — что Аня похожа на отца. Материнские заботы были непривычны. Впервые почувствовала себя неумелой, может, потому оказалась строгой, даже слишком строгой матерью. Аню никогда не качали на руках, не трясли ее кроватки. Кормили в определенные часы, по книге. Прихо-

дилось сознаваться — оба они с Ильей Николаевичем намучились в новой роли родителей.

Наступила зима. Приближались рождественские каникулы. Илья Николаевич, совсем было собравшийся уходить в гимназию, как всегда, заглянул к жене. Маша деловито перепеленывала Анюту. Он погладил темноволосую голову Марии Александровны. Простился. И все не уходил.

— Помнишь у Веретенниковых сочельник? — наконец тихо спросил он.

Маша подняла на мужа блестящие коричневые глаза:

— Устроим Ане елку?

С Аней уже никогда не чувствовала одиночества. Всегда возле нее дышал человек, нуждался в ее помощи, не оставлял ни на минуту. С ним легче было думать, молчать, напевать песенки детства, и вот — уже можно вспомнить любимые святки, пахнущие лесом и снегом.

— Сделаем. Конечно, сделаем...

Когда Аня спала, наказывала Мария Александровна кухарке Насте время от времени заглядывать в детскую и уходила за покупками. Однажды и Илья Николаевич, смущенно улыбаясь, принес какую-то цветную проволоку, тюбики клея, подсвечники с витыми свечками: «Зашел по дороге».

— Выдумщица ты,— удивлялся он, видя, как из-под ее пальцев выходят обезьянки в ярких шлафроках, деды-морозы с мешками, полными крохотных сундучков, фонариков,

книжек, домики со светящимися окошками, старики-лесовики, сделанные из еловых шишек...

25 декабря нужно было идти на официальный праздник в гимназию, потом к директору. Накануне они остались одни со своей елкой. Настя отпросилась в гости. Это был их вечер. Полный тишины и музыки. Только их троих. Аня тихо спала и, посапывая, ничего не понимала. А взрослые так глубоко чувствовали прочность своей любви, семьи. Очень уставал Илья, и чего бы не отдала Маша, чтобы чаще видеть вот это выражение умиротворенности на его лице! По любимой своей привычке он ходил из угла в угол. Все для него было ново. И то, что жена устроила праздник в день его рождения, о котором он до сих пор всегда забывал. Вышила туфельку для часов — все для тех же, первых и единственных.

Семья росла. Через полтора года после появления Ани родился мальчик. Саша — в честь деда. Но радость омрачилась волнениями. Студент Каракозов (тот самый, Илюшин знакомый, господи!) стрелял в царя. Упоминали имя Страндена (ученик по Пензе!). И почему-то не было симпатии к спасшему Александра II мужику Комиссарову. Трудно было разобраться в событиях. Илья так хорошо говорил когда-то об Ишутине, и о Каракозове (подумать жутко...), и о Страндене. Какие способные были и разумные. Как же теперь? С насилием, с тем, что человек человеку несет смерть, она не могла примириться. Но как же они были

смелы — эти молодые люди! Разрушительных идей, конечно, ни Илья Николаевич, ни тем более Маша не могли одобрить, но честность, неумение лгать, приспосабливаться, если не согласен,— эти качества вызывали уважение. Люди должны быть хорошими людьми, и он умеет их делать такими.

— Убийство жестоко,— говорил Илья Николаевич.— Столько интеллигентных людей получили сейчас возможность помогать народу.

— А сколько лишаются такой возможности! — возражала Мария Александровна.— Сколько бросают в ссылку и тюрьмы, гонят на каторгу!

Трудные мысли не давали ей покоя. Мешали заснуть по ночам.

Прошел год, и родилась Оленька, но не успели порадоваться, как она заболела и умерла в Кокушкине.

Люба Веретенникова писала оттуда своей подруге по Саратовской гимназии В. И. Эдемовой 18 июля 1869 года: «У Ильи Николаевича и тети Маши умерла на днях меньшая Оля. Болезнь и смерть ее как будто истребила в Кокушкине веселость и наложила какую-то тяжесть на всех его обитателей».

Горе еще больше сблизило Илью и Машу. Он старался выкроить свободные вечера, оставался дома и, оторвавшись от бумаг, читал ей вслух. Все трудней было уходить в гости, понемногу друзья привыкли собираться у них. Она любила принимать у себя. Было у Ульяновых просто и душевно

хорошо, много книг, шахматы, новые журналы, музыка. Вина и карт они не любили.

Илья Николаевич не умел «разговориться» в большом обществе. Легкой же болтовни и подавно не выносил. Замыкался. «Затворялся», как говорила жена. Дома, когда собирались только свои, самые близкие, он словно тугой пояс снимал, начинал расхаживать по гостиной и говорил, говорил, мечтая вслух и рассуждая о любимых предметах.

Незаметно прожили они в Нижнем Новгороде пять лет. Пришло назначение Илье Николаевичу в Симбирск — инспектором народных училищ. Предстояло ехать в город меньший, недавно горевший, как рассказывали знакомые, но поле деятельности расширялось. Положительно, мечты могут сбываться! Учить самых нуждающихся, тех, кому всего труднее получить образование, детей вчерашних рабов.

Они с Машей уже давно решили, что для образования не будут жалеть ничего. Откажут себе во всем необходимом, но никакие соображения не помешают им учить своих детей. Она никогда бы не осудила отца, которого продолжала нежно любить и жалеть, но то, что он допускал возможность ограничить дочек в образовании, казалось теперь ей неправильным. Тут же она думала: «Может быть, он слишком был уверен в нас?» Стали же все людьми образованными, спасибо тете Екатерине!

Почти все ее время было занято детьми. Она заметно похудела, лицо стало у́же, суше, тоньше, строже. Легкая неправильность чуть выдававшихся вперед зубов делала лицо как бы затаившим улыбку.

Они решили, что вперед в Симбирск поедет Илья Николаевич один. Квартиру им Ауновские, уже переехавшие туда, нашли. Недорогую. На первое время. Устроится «начерно». А она съездит в Астрахань к его родным.

Город Астрахань и новые родные, обстановка в семье Ульяновых, которых старожилы по-старинному называли «Ульяниновыми», не удивили Марию Александровну. Благодаря усилиям Василия Николаевича и помощи Ильи Николаевича Ульяновы жили скромно, но без нужды. Привычка к некоторой размеренности стала второю натурой Марии Александровны, но она не считала себя вправе возражать, вмешиваться в здешний несколько безалаберный уклад. Чувство глубокой благодарности за Илью охватывало ее здесь тем больше, чем глубже, ближе узнавала она новых родных, о которых столько думала, живя вдали от них. Как же много пришлось Илье переделывать в себе, преодолевать, чтобы стать таким, каким она его узнала,— твердым, четким.

Василий Николаевич внешне мало походил на младшего брата. В его лице определеннее были отцовские черты «коренной русской национальности», как писалось в казенных книгах. Илье передалась калмыковатость матери. Так же, как мать, Васи-

лий наделен был умением работать, казалось, без конца и не уставать. «Милый, милый человек! — хотелось сказать Марии Александровне.— Сколько ты сделал для всех нас!»

Саша с Аней чувствовали себя отлично. Им нравились непривычные заботы бабушки, ее черный с цветами платок. Чтобы лучше слышать, она выпрастывала из-под него ухо да частенько так и ходила. Аня помогала ей кормить цыплят, спрашивала: «А вы и цыплячья бабушка?» Тащила чашки и ложки, когда накрывали стол к обеду. Бабушка руками всплескивала:

— Ай да умница, ай да разумница! Ну и мама у тебя — всему дочку выучила.

И усаживала девочку на лавку, а сама принималась хлопотать еще усердней.

Саша держался ближе к дяде — тот рассказывал ему о своих поездках, подарил крепкий кристалл соли, похожий на хрусталь.

Невестка нравилась и Анне Алексеевне, и Василию Николаевичу — красивая, не кокетливая, работящая. «Положительная!» — решили они.

Вечерами, когда дети спали и в доме все было прибрано, Анна Алексеевна, Федосья Николаевна и Василий Николаевич с Марией Александровной усаживались на лавочку во дворе и подолгу разговаривали об Илюше. Мария Александровна старалась как можно подробнее рассказать о его здоровье, работе, обо всей их жизни. Расспрашивала родных об их делах. Советовалась,

как устроиться на новом месте. Им с мужем очень хотелось снять небольшой хотя бы, но целый дом, чтобы и для работы Ильи Николаевича было спокойно, тихо, и дети чувствовали бы себя свободно. Анна Алексеевна близко к сердцу приняла эту заботу.

— Непременно купите домик,— говорила она.— Покойный отец хоть и не успел всего за дом выплатить, а все чувствуем — свой угол. Нет, надо отдельный, свой домик. Авось получится. Мой совет.

Василий Николаевич больше интересовался деятельностью брата. Было что-то восторженное в тоне, каким он говорил о нем.

Илья Николаевич тем временем устраивался в Симбирске. Представился директору гимназии. Познакомился с сослуживцами, встретился со старыми знакомыми. Его радовало, что в Симбирске уже работали его друзья: «соловушко» Ауновский (Машеньке будет с кем музицировать) и учитель его Смирнов.

Просвещение! Наконец-то коснется оно не только русского крестьянства, но и татар, мордвы, чувашей, черемисов, башкир. Совсем темных, совсем забитых, без письменности...

Город показался ему унылым: всюду следы пожара. Флигель дома Прибыловского на Стрелецкой, упиравшейся в мрачное здание тюрьмы, тесноват. «Все устроится!» «Перетисуется», как сказала Настя, приехавшая с ним из Нижнего.

По воскресеньям под жиденький колокольный звон шли благостные салопницы-купчихи да чиновницы в церковь. Вечерами, напившись до одури чаю и отоспавшись на пуховых перинах, выносили они стулья к калиткам и, поплевывая шелухой семечек, судачили обо всех проходящих.

Для Ильи Николаевича главное было скорее, скорее увидеть школы и учителей. Но их почти не существовало. Невозможно было назвать школой сырую, темную церковную сторожку или сарай, в коем ютились оборванные, не имеющие учебников дети.

Мелькали перед ним Промзино, Барышская слобода, Кладбищи, Штанищи, Разгильдино, Шемурша, Кошки, Тагай, Конышевка, Кременки и дальше, дальше другие...

Нет, так нельзя! С этого и надо начинать! Он стучался в губернское ведомство, доказывал, настаивал. 22 августа 1869 года, до его приезда, в здании городского общества на углу Большой и Покровской открылись за счет ведомства, при Симбирском уездном училище, педагогические курсы. Он принял их как руководитель, и они позже стали его детищем. Стали «ульяновскими».

...Маша все поймет. Верил — со всем сумеет справиться. Не хотелось отягощать ее этой духотой, тупостью, мещанством, но всюду, где она, будет свет, ее ум, ее душа. Она все преодолеет.

Мария Александровна не подала вида, насколько испугали ее соседство с тюрьмой и непрезентабельность флигелька. У нее был

талант устраивать дом. Баулы, погребцы с посудой, пестери с нотами и книгами, портпледы распаковывались и превращали не слишком светлые комнаты флигеля в как бы давно обжитый дом. Вещи находили свои места. Запахло свежевыглаженным и подкрахмаленным бельем, цветами, лавандой. Из кухни потянуло чем-то печеным, и в помощь Насте появилась неторопливая няня Варвара Григорьевна Сарбатова — старая солдатка из Пензенской губернии. Не справиться было с хозяйством, когда вот-вот должен был родиться еще один член ульяновской семьи.

Трудно привыкали и приспосабливались к здешнему климату. Одолевает жара, и вдруг молочный туман затягивает Волгу, и только пароходные гудки звучат, будто голоса заблудившихся великанов. На дню погода менялась по нескольку раз. Вот ясно. А вот уже потемнело, и задул ветер, завивая на дорогах пыльные смерчи. Ветры дули особенно настойчиво, с завыванием, забираясь в печные трубы.

Володя появился на свет весной 1870 года, когда родители вполне обосновались в Симбирске. Это был лобастый мальчишка, косивший молочно-синими, как у всех новорожденных, глазами. Рождение его повело к большой дружбе Марии Александровны с акушеркой Анной Дмитриевной Ильиной. У обеих нашлось о чем поговорить и перед родами и после. На многие вещи Ильина смотрела так же, как доктор Бланк, и это особенно расположило к ней молодую мать.

Да, она была молодой, но вполне уже зрелой женщиной. С Аней Мария Александровна оказывалась подчас беспомощной. На Саше уже не пробовались, а применялись найденные педагогические приемы. К Володе мать относилась спокойно, не теряясь в ненужных поисках, без замешательства и заглядывания в книгу. Глубоко, полно отдавалась она материнству, зрелому и желанному. «Вот покажем Володю деду». Но 17 июля умер неугомонный доктор Бланк. Не увидел внука.

Анечка, несмотря на научные методы воспитания, росла слабенькой, нервной. Саша — здоровый, крепкий, был задумчив и тих. Зато Володя заполнял собою всю квартиру. Он не плакал, а кричал весело и настойчиво. Постоянно двигался, сбрасывая одеяло, и рано пытался встать. Пыхтел, упирался смуглыми кулачками в плоскую подушку, мотал большой головенкой. Без Варвары Григорьевны было бы с ним не справиться.

Они переезжали несколько раз. Семья увеличивалась. Уже была в ней еще одна девочка, названная Олей, под стать Володе — озорная, беспокойная. В год ее рождения Илья Николаевич провожал первых своих выпускников. Курсы в педагогической среде давно именовали «ульяновскими», а его учеников — «ульяновцами».

Мария Александровна в своей семье была не командиром, нет, скорее, она — дирижер.

Не раздражаясь, без окрика, тихо и неторопливо управляла хозяйством и детьми. Руки ее никогда не оставались свободными. Ее радовало все — раннее утро, когда все тихо в доме и даже Илья Николаевич спит (если он дома). Отдернув занавески, она поливала цветы, стоящие на подоконниках, шла на кухню и вместе с Варварой Григорьевной затемно готовила завтрак. Уже трещали дрова в русской печке, когда в кабинете Ильи Николаевича слышался шорох. Мария Александровна садилась за рояль и тихо наигрывала Шопена. Дети привыкли просыпаться под ее музыку. Они появлялись на пороге столовой, розовые со сна, полуодетые, и отправлялись мыться в переднюю под рукомойником и обтираться холодной водой. Помогали друг другу. Слышался смех, тихое взвизгивание. Бежали в детскую одеваться, и вскоре вся семья сидела за большим обеденным столом, на котором пыхтел самовар. Малыш Коля — грудной — куксился на руках Марии Александровны.

Жизнь шла в заботах, радостях и горестях. Коля недолго прожил — горе. А вот и радость — уже старших нужно готовить в гимназию. Мария Александровна занималась с ними сама. Все будем делать, чтобы они получили образование! Для того, чтобы учиться,— все! Это было основой жизни Ульяновых.

Кому доверить окончательную подготовку Ани и Саши? Наверное, лучшему из тех, кому Илья Николаевич передал свои принципы, знания и навыки. Решили пригласить

выпускника института — Василия Андреевича Калашникова — преподавателя приходского училища, совсем молодого, похожего на былинного богатыря. К тому времени педагогические курсы окончили уже восемнадцать человек. Открыли учительскую семинарию в Алатырском уезде, в большом селе Порецком. Через год еще выпуск — двадцать три новых «ульяновца».

В холод, в дождь, в мороз и жару колесил инспектор народных училищ Ульянов в казенной бричке по деревням. И ждала его жена — неустающий, деятельный друг. С ним ей все было легко. А он не мог существовать без ее заботы.

В конце дня, обойдя со свечой кроватки детей, каждого поцеловав, с каждым поговорив, садилась она за рояль. Или читала. Но музыку перед сном дети непременно слышали. И привыкли к этому. Музыка. Книги. Добрые друзья, приходившие поделиться радостью и горем, заполняли скромную жизнь Ульяновых.

Жили экономно. Понемногу откладывали на покупку дома. И в 1878 году купили одноэтажный, с мезонином дом. Чистый двор, походивший на сад, зарос травой, ромашками. Яблоневый сад был довольно обширный, но совсем молодой, в серебристых тополях, с толстыми вязами, с желтой акацией и сиренью вдоль забора. Во дворе стоял каретник, в котором не было ни карет, ни лошадей. Наискосок от дома высилась пожарная каланча. Мария Александровна никогда не забывала горького запаха пермского пожара.

Далеко было до старости. Росли дети, и сердце молодело оттого, что они рядом. Все так же летом съезжались сестры с семьями в Кокушкино, все так же, как в детстве, хлюпали по воде подгнившие доски древней купальни. Кокушкино навсегда оставалось для сестер гнездом, как мечтал отец. Гнездом, из которого улетают птенцы. Улетают и возвращаются, чтобы почувствовать себя сильными, взрослыми, готовыми к новому полету.

Калашников пришел в дом инспектора народных училищ и своего любимого учителя, невольно подражая его походке,— крепыш, молодой, опасающийся выдать то, как смущен оказанным доверием. Но он не зря был учеником Ульянова — внимание, доброта, сдержанность, а главное — преданность долгу определяли его жизнь, поступки.

В квартире стояла тишина, а ведь он знал, что детей в семье много, и удивился. Мария Александровна, которую он прежде видел только мельком на каком-то торжественном акте, вышла ему навстречу в переднюю — стройная, красивая, в темном платье с белым воротничком. На ходу она положила на комод в своей комнате книгу. Поздоровалась и сразу постучала в кабинет Ильи Николаевича.

Первый учитель ее детей!

Калашников слышал о том, что жена инспектора образованная женщина, музыкантша, отличная воспитательница. Он понимал, что она должна сейчас чувствовать, вглядываясь в его лицо. «Она бледна,— подумал он,— и нездорова...»

А Мария Александровна, успокаиваясь, еще раз взглянула на доброе, немного смущенное лицо молодого человека. «Он добрый,— подумала она,— и все понимает. И строгий по-доброму. Детям с ним будет хорошо. Он не распустит их и не будет связывать...»

Они поняли друг друга без слов.

Калашников переступил порог кабинета. Илья Николаевич поднялся из-за стола, пожал вошедшему руку. Предложил ему сесть в черное клеенчатое кресло.

— Все, что я хотел бы от уроков,— только знаний для поступления в приготовительный класс гимназии. Остальное — зачем же мне говорить? Воспитание — наша совместная работа... Дети рассудительные. Мы не стесняем их. Пойдемте познакомимся.

Оказалось не совсем так, как говорил Илья Николаевич. Если Сашу, с тонкими, как у матери, чертами лица и крупным, как у отца, ртом, с большими черными смышленными глазами, можно было назвать рассудительным, очень сдержанным, очень разумным, то старшая Аня — хорошенькая, нервная — казалась мечтательной, фантазеркой и выглядела несколько болезненной.

Жизнь в доме как будто катилась по рельсам. Всем хватало работы, и все, собираясь вместе, отдыхали за играми, в которых участвовали и взрослые. Калашникову случалось бывать у Ульяновых и в праздники. Не видел он тут искусственного лоска, желания удивить, понравиться. И все были

разные. Каждый на свой лад. Даже младшие — Володя и Оленька — с озорными глазами, верткие, живые,— казалось, минуты не посидят спокойно. Шумные — возраст такой! Но и они шумели где-то в саду, подчиняясь распорядку, заведенному в доме, понимая, что работе мешать нельзя. Он слышал, входя во двор, как самозабвенно кричали они, носясь в фантастических самодельных индейских костюмах. Потрясали луками, стрелами. «Дети должны кричать!» — как бы объясняя, сказала, неслышно подойдя, Мария Александровна. И тут им был полный простор. Гигантские шаги, крокет. В редкие дни, когда Илья Николаевич бывал дома, Калашников и его заставал на крокетной площадке и, немного удивляясь, наблюдал, с каким увлечением этот серьезный человек спорит из-за неверного хода, как осторожно проводит в воротца свой шар.

Кому-кому, а Калашникову были известны маршруты Ильи Николаевича, его кочевья. Часто и на праздник Ульянов не попадал домой. Но никогда не замечал Калашников раздражения на лице или в голосе Марии Александровны. «Как тут уважают работу!» — думал он.

Дети учились ровно. Чувствовалось, что они много читают. Саша и Аня увлекались «Ивангоэ» («Айвенго») Вальтера Скотта. Отец выписывал все детские журналы. Калашников знал гимназический уклад и тревожился, как эти свободно-вежливые, никем не стесняемые дети примирятся с муштрой,

грубостью, часто несправедливостью в гимназии. Он никогда не видел, чтобы дети плакали. Но однажды застал Сашу в слезах. Все в доме было необычно. Необычно громко говорила на кухне Варвара Григорьевна с Настей. В столовой валялось на стуле что-то белое, видимо, брошенное второпях. Около запертой двери в комнату Марии Александровны стоял Саша и плакал.

Недавно они с Василием Андреевичем придумали подарить ко дню рождения матери красиво переписанные стихи Рылеева «Иван Сусанин», очень нравившиеся мальчику, и вот все было забыто — заболела Мария Александровна. Болезнь была тяжелой, и врач, ставший уже другом этого дома, Иван Сидорович Покровский, высокий, полный, со смеющимися глазами навыкате, неунывающий шутник, отличный терапевт, сегодня выглядел мрачным. Приехал Лев Васильевич Персиянинов, обычно не практиковавший. Он почти безвыездно жил в своем поместье, где открыл школу для крестьянских детей. Кадьян, судившийся позже по делу ста девяносто трех, и другие врачи совещались в столовой.

Несколько дней в доме ходили как потерянные. Но Мария Александровна справилась с болезнью. Когда она вышла в первый раз из своей комнаты в столовую, еще слабая, но стараясь держаться как обычно, Калашников вздрогнул от неожиданности. Он понимал, что это неприлично, но не мог отвести глаз от ее ставших совершенно седыми волос. А Мария Александровна, немного

нахмурясь, пригладила прическу обеими руками — от пробора к тяжелому узлу на затылке. Руки чуть-чуть дрожали.

— А вот и неправда! Калоши могут летать! — Володя захохотал и ловко сбросил со своей ноги калошу так, что она полетела в гостиную.

— Моя дальше! — всполошилась Оля, отправляя туда же свою.

— Мама и папа придут — достанется вам. Варвара Григорьевна только что пол вымыла,— пытался утихомирить младших сбежавший с антресолей Саша. Но удержать их было уже невозможно. В столовую летели калоши, боты, валенки, задевая недавно обитый яркой материей диван, пачкая медово-блестящий пол. Ребята не заметили, как вошла мать.

Мария Александровна подняла брови. Как бы между прочим, сбросив шубку и повесив ее в прихожей, на ходу стягивая перчатки, негромко, не сердясь, а скорее жалея, что у нее такие неумные дети, сказала:

— Пустяки какие делаете. Приберите скорее. Это ненужное...— и чуть поморщилась. Восторг нелепой игры был испорчен. Потушен. Остался стыд.

Был вечер, и все занимались своими делами. Уроки приготовлены. Скоро ужинать. Должен прийти папа. Саша разложил на полу в гостиной заветную коллекцию. Он со-

бирал афиши и очень гордился своими экспонатами. Володя наблюдал за братом из-за двери. Вдруг он ворвался в комнату и побежал по цветистому ковру афиш, расшвыривая его квадраты. В этом был какой-то протест, непокорство, которого сам мальчик, конечно, объяснить не смог бы.

Саша вспыхнул. С упреком взглянул на сосредоточенное, упрямое личико братишки и молча стал собирать и складывать свои сокровища. Уже не хотелось показывать их папе. Он расправлял измятые листы, приглаживая порванные места. Он не сказал ни слова. А Володя затих и виновато следил глазами за каждым движением Саши. Он так любил брата, гордился им, подражал ему. И вдруг... почему это? Ни тот, ни другой не смогли бы ответить. А Саше его заветная коллекция вдруг показалась ненужной.

Володя не столько играл в свои игрушки, сколько ломал их, стараясь заглянуть внутрь — что там? Любил делать игрушки сам. Они получались корявыми и тяжеловесными, но родители никогда не выбрасывали их. Смастерил ходули и расхаживал на них по двору. Учился орудовать топором, пилой, вырезал для самых младших лодочки, кубики. Но и они быстро надоедали. Все надоедало, кроме солдатиков. Их он вырезал из плотной бумаги и раскрашивал. Каждый полк был своего цвета. В солдатики играли все — и старшие, и младшие. Сашиными предводительствовал Гарибальди, Во-

лодиными — Авраам Линкольн, Гранд и Шерман. У Ани и Оли — испанские стрелки воевали против Бонапарта. Дети были очень разные, а Мария Александровна не подгоняла их души под один средний ранжир, отдавала им только свое, главное — любовь к работе, к учению. Не выносила, когда кто-нибудь болтался без дела. Она была истинным дирижером — это Калашников видел.

Вера Васильевна Кашкадамова была назначена преподавательницей женского начального училища. Она старалась держаться солидно, но часто краснела, и от этого еще ярче блестели ее круглые глаза. Без необходимости теребила черные часики на шнурке, то и дело вынимая их из-за широкого пояса с пряжкой.

Нужно было идти к Илье Николаевичу посоветоваться, обсудить планы учебного года. Ее встретила Мария Александровна во дворе и показалась пожилой, хотя и очень красивой той тонкой красотой, какую ей приходилось видеть только на картинах больших художников. Ей говорили о Марии Александровне, поджимая губы, досужие мещанки:

— Расчетлива!

И о всей семье Ульяновых:

— Моду завели: перед детьми извиняются, если что... как перед взрослыми.

Глубоко уважая Илью Николаевича, Вера Васильевна не могла видеть дурное ни

в чем, касающемся его и его близких. И сейчас, остановившись перед совершенно седой женщиной, она вгляделась и поняла, что Мария Александровна молода. А сколько в глазах ее доброжелательства!

Как женщина, Кашкадамова замечала все житейские мелочи в доме своего учителя и то, что Мария Александровна все время занята уроками с детьми, по хозяйству, в саду (и тогда дети торопились помочь ей). Она заметила, что у няни Варвары Григорьевны комната с отдельным входом, а Мария Александровна живет в проходной. «Как страж — всегда начеку, всегда готова вскочить с постели, открыть двери, помочь, отозваться»,— думала Вера. «При входе (передняя), при хлебе (столовая), при муже (близко кабинет), возле детей». Железная койка под накидкой с оборками. На комоде — зеркало, свеча в подсвечнике, шкатулка красного дерева и книги, книги... маленькие томики Гейне, Гете, Доде, Шиллера, Тургенева. Роман «Война и мир» Льва Толстого! Журналы... У родителей и детей — книги! Вся семья абонировалась в городской Карамзинской библиотеке.

Когда Мария Александровна заглядывала в кабинет и приглашала: «Чай на столе. Пора. Кончайте заниматься»,— лицо Ильи Николаевича светлело, становилось мягче, радостнее. В столовой было весело. Все шутили, смеялись, рассказывали свои новости.

Все были равны в этой семье, в которой действительно уважали не только младшие

старших, но и старшие младших. Уважали их занятия, их игры, их интересы.

В одну из суббот Вера Васильевна услышала, как Саша и Аня стыдили маленькую Олю:

— Обещала и не выполнила! Эх, ты! Не написала! Слова у тебя нет! Обезьянка! Получай тетрадку! — Аня протянула тоненькую тетрадь со штампом магазина Юргенса.

Малышка покраснела и живо-живо, даже чуть ссутулясь, стала взбираться в детскую, помещавшуюся на антресолях. Она высоко поднимала над головой руку, держась за перила.

Все, казалось, забыли об инциденте, когда по лестнице почти скатилась Оля, потрясая листком бумаги. Сегодня, как всегда по субботам, за вечерним чаем должны были читать журнал «Субботник». Редактор его и художник Саша уже приготовил папку с красиво нарисованным названием. Журнал не сшивали. Рассказы и статьи просто вкладывались в общую обложку.

Саша взял листок из рук сияющей сестренки, ничем не выказывая поощрения, только во взгляде его Вера Васильевна заметила промелькнувшую искорку. Быстро пробежав глазами написанное, он положил Олино произведение в папку. Сидевшая рядом Вера Васильевна прочла выведенную кривыми печатными буквами подпись: «Абсзянков».

Началось чтение: стихи, рассказ. Саша показывал карикатуры. Под изображением

плачущей девочки стояло: «Оля, посылаемая спать». «Первый день Володи в гимназии» изображал маленького гимназиста, огорченно смотрящего на пустой пакет и на удирающих товарищей, держащих в руках пирожки.

Когда Саша начал читать ядовитую критическую статью на рассказ Кубышкина, Володя насторожился. Он впервые слышал разбор, да еще своего произведения. Он перестал жевать булку с маслом, подпер голову рукой и огорченно вслушивался в каждое слово.

Мария Александровна тревожно следила за тем, как менялось выражение лица Володи. Строгий критик нападал на всех сотрудников «Субботника»: «Что же молчит наш почтенный Вральман,— вопрошал он,— что он ограничивается шутками и загадками?»

Вера Васильевна удивилась про себя — почему такой правдивый юноша, как Саша, взял псевдоним «Вральман» — наверное, по контрасту...

Когда папка была закрыта и начался общий разговор, Мария Александровна сказала:

— Такой резкостью вы оттолкнете авторов... Потом... Нужно ли так много стихов?

Володя сначала потупился, потом тряхнул вьющимися волосами. Аня молча улыбалась, стараясь скрыть смущение. Всегда сдержанный Саша тут оказался несговорчивым редактором. Он отстаивал позиции своего журнала и право критика высказывать свое мнение.

Маняше было лет пять, когда Мария Александровна стала учить ее вязанию. Девочке очень не хотелось учиться. Она искоса жалобно посматривала черными глазами на мать. Мать замечала это, но только улыбалась.

— А знаешь, как это интересно, Маня? Ты только попробуй...— Большой, как мяч, клубок красного пушистого гаруса, лежавший в сетчатой медной маминой рукодельной корзинке, казался таким тяжелым. Крючок не слушался маленьких пухлых пальцев, но Мария Александровна, словно не видя терзаний Маняши, продолжала, сначала держа ее руку в своих, накидывать петли. Потом убрала свои руки и только подсказывала, что делать. Когда постепенно будущий шарф начал определяться, из клубка выскочила крохотная фарфоровая куколка в полвершка ростом, одетая в яркое вязаное платьице и шапочку. Маня даже рот открыла от изумления. Обе они с мамой рассмотрели неожиданную гостью, и Маня уже более внимательно принялась за вязание. Через некоторое время выскочил карандаш для записной книжки — со шнурком и кисточкой. Потом — кусочек шоколада. Обе весело смеялись, и дело пошло на лад.

Когда через несколько дней шарф был готов, Маня даже не заметила, что на конце нитки никакой награды не было — так ей понравилась собственная работа и то, что она сможет подарить ее маленькому Мите.

Успевала Мария Александровна еще и преподавать рукоделие в женской гимназии.

Как-то Илья Николаевич сказал Вере Васильевне:

— Дети у нас парами: самые серьезные — старшие — Аня и Саша. Озорники Володя и Оля — средние. Самые младшие — Митя и Маняша. Кто знает, какими они вырастут, но думаю, что все дельные.

Дом и сад, наполненные дыханием и жизнью детей, все, созданное и украшенное, выращенное руками его Машеньки, давало Илье Николаевичу силы работать.

Работал он много, старался быть в курсе жизни общества, выписывал ценные выставки, физические приборы и, прежде чем отнести их в училище, обязательно показывал опыты детям. Объяснял, увлекаясь как мальчишка. Предлагал повторить самим. Саша был первым помощником. У него определились способности к физике и естествознанию.

Но дети заботили Илью Николаевича. Отчего Саша постоянно задумчив? Будущий ученый... Потрошит лягушек. Пишет. Аня? Слишком первна...

Оля во всем подражает Володе, и, кажется, будь ее воля, сама стала бы мальчиком. Митя тих, послушен, но, когда волнуется, начинает даже заикаться от торопливости. Маняша: медвежонок еще... А у Володи — страсть противоречить. Откуда она? На чем основана? Все схватывает на лету. Умен, даже чересчур. Уроки учит мгновенно, а по-

том слетает вниз в столовую и ходит колесом, мешает заниматься старшим. Сломал Анину линейку. Пришлось наказать его, а ведь они с Машей взяли за правило влиять на детей нравственно, не окриком, не наказанием. Сколько азарта в его играх! Когда идет сражение бумажных солдатиков, летят горошины. Крик, споры.

Как-то дети слишком расшумелись, отец вышел в столовую и сказал:

— Мешаете работать!

Но только углубился в занятия, как Володя что-то выкинул. Илья Николаевич, не торопясь, сдерживаясь, вышел снова, увел его в кабинет, посадил в глубокое кресло. Это было самое строгое наказание — «черное кресло».

— Будешь сидеть час.

Обычно он говорил с наказанными не о «преступлении», а об уроках, о гимназии. Случалось в «черном кресле» и уроки спрашивать. Но Володя ни разу не проштрафился. Знал заданное не только по учебнику, а гораздо больше. Сегодня разговоров не было. Мария Александровна позвала пить чай. Вернулся в кабинет с женой — «преступник» спал.

— Что нам с ним делать, Маша?

У матери волнений с детьми больше. Вспомнить хотя бы, какие огорчения были, когда Саша пошел в приготовительный класс. Для серьезного мальчика, знавшего больше положенного, почти бурсацкие нравы — му́ка: он даже стеснялся своих знаний... превосходства... И как запротестовал,

когда пришла пора Володю отдавать в приготовительный.

— Вы не представляете, какое там глупое бездушие, формалистика! То, что мы знаем больше других, Володе пойдет только во вред: он и так самоуверенный. А директора Вишневского недаром зовут держимордой и вором!

И ведь родители послушались его, двенадцатилетнего мальчика.

— Помнишь?

— Помню.

Володя неукротим, резв, резок, но — ничего исподтишка. И находчив. Когда по дороге в Кокушкино на пароходе расшалился и мать сказала: «Нельзя кричать»,— ответил: «Но пароход-то ведь сам громко кричит».

Мать встает раньше всех и выходит в сад, поливает клумбы, возится на грядках клубники. Перед нею — весь сад с трепещущей в конце главной аллеи «Аниной осинкой». Ничто не мешает думать. Дышится так широко и свободно. Но вот кто-то из ребят пробирается в сад по окольной аллее, прозванной ими «Грязный бор», на ней вечно мусор из соседнего неряшливого двора. Есть еще «Черный бор» из густой сирени, «Красный» — с боярышником и «Желтый» в акации... Бежит кто-то, торопится собрать падалицу и первым преподнести заспавшимся. Конкуренция у них — знает она. Кто же это? Володя...

— Смотри, мама, какие крупные у дьячка (так они зовут яблоню-дичок).

Растут дети. Только бы они нашли свое место в жизни. По душе. Чтобы могли отдать себя своему делу. И родители думают, вспоминают. Не слишком ли они строги к своим детям?

Мария Александровна знает, что муж недоволен, когда она «дает поблажку» Ане, позволяет пропустить занятия, если девочка неважно себя чувствует. Но она замечает, что в такие дни Аня особенно хорошо, гораздо глубже, чем в гимназии, занимается дома. Гимназия связывает ее. Илья Николаевич хвалит ей Анины сочинения за глубину мысли, за поэтичность, за анализ. Но, может быть, это нужно было сказать самой девочке? Как бы это подбодрило ее! Ведь неуверенность в себе — тяжелая беда.

Сочельник по-прежнему оставался любимым праздником семьи. Дети не подозревали, чем он был для родителей в дни молодости. Их радовало, что в сочельник все за столом. Все приготовили друг другу сюрпризы — обязательно свои, самодельные. Гасят лампы, зажигается елка. На минуту умолкают все. И у детей мелькает мысль о счастье быть вместе, о неразрывности их круга. Задумались и родители. Мария Александровна рядом с мужем чувствовала себя защищенной. Рядом с ним ничто не было страшно. Просто помолчать. Прижаться к плечу. Вот так, все вместе — и няня, и На-

стя,— они собирались редко. Дети не замечали затаенной улыбки в глазах родителей; они любили их для себя и в то же время на все были готовы для них. Это была семья. И семья была сегодня в сборе.

На следующий день принимали гостей. Пришел Володин и Маняшин крестный — Арсений Федорович Белокрысенко — управляющий удельной конторой,— седой, молчаливый, казавшийся чопорным. Весь вечер он тосковал о той минуте, когда они с Ильей Николаевичем засядут за шахматы. Пришел инспектор народных училищ Иван Владимирович Ишерский с женой и ребятишками — высокий, лысый, с большой окладистой бородой. Слегка шмыгнув носом, он обязательно подсядет к Марии Александровне и с радостью согласится петь, когда его попросят, скажет: «Под ваш аккомпанемент поется, как дышится...» Он скажет правду. Мама играет, как дышит,— естественно, просто. Галантной фразе старшие дети чуть улыбнутся глазами, а Володя уже и рот приоткроет, чтобы сказать что-то, но, поймав мамин подчеркнуто спокойный взгляд, направленный на него, не скажет.

Придут учителя: просветитель чувашей Иван Яковлевич Яковлев, любимец детей, удивительно уютный, добрый, мягкий, весь какой-то светлый, расположенный к ним... Историк Моржов, либерал; красавец — кумир гимназисток и гроза гимназистов — рыжий Ежов; молодой высокий блондин Нехотяев, с тоской поглядывающий на закусочный столик. Классные дамы — энергичная

Рамзайцева и робкая Зандман, словом, сослуживцы отца, их дети, одноклассники молодых Ульяновых.

Елку зажигали в гостиной. Водили вокруг нее хоровод в масках, в костюмах, которые придумывали в строгом секрете друг от друга. Танцевали. Пели. Играли в почту, в слова, в шарады (тут-то и оказывались некоторые костюмы особенно кстати). Это был очень веселый и шумный праздник, но разве мог он сравниться с теми вечерами, когда так раскрывалась душа и все можно было говорить, как думать вслух, когда семья была вместе!

Во время экзаменов весь дом в напряжении, в заботе достать книги сверх программы, попасть на лекции приезжего писателя, ученого.

Мария Александровна смотрит в окно, во двор — на детей. Может быть, не сдерживать себя? Может быть, нужно быть с ними ласковей? Но они так веселы, так свободны... Не свяжет ли их чувствительность матери? Они все понимают сами. Она берет листок почтовой бумаги, цветной конверт и присаживается к письменному столу: «18 марта 1882 года... выписала у Иммера цветочных и огородных семян и теперь все вожусь с парниками и посевами, не знаю, будет ли успех, а времени трачу много».

Но вот кончены экзамены, весенние работы в саду — можно ехать в Кокушкино. Кокушкино дорого совсем особенным, непов-

торимым. А может быть, именно повторением своей юности в юности детей.

Илья Николаевич становился в лесу совсем молодым, озорным, пел, бегал взапуски, и Марию Александровну было не узнать — разрумянившуюся, с блестящими глазами. Машенька — по старой памяти звали ее в деревнях прежние ее приятельницы и прибегали посоветоваться, полечиться.

На пароходе — в Казань! Как любили они самый запах рогож, вяленой рыбы, арбузов. Крынки с топленым молоком на пристанях. Туески меда, ягоды в лукошках и деревянных чашках. Запах реки!

Когда издали виделась высокая, могучая фигура ямщика Якова Дмитриевича, трудно было удержать детей от бурного проявления радости. Бросались к нему, торопили, обнимались. Скорее, скорее в Кокушкино!

— Забавник,— говорил Яков Дмитриевич о Володе и чихал, нюхнув табачка.— Мозги прочищает!

Это выражение так понравилось Володе, что он, услышав от кого-нибудь глупость, просил:

— Чихни!

Мельница. Пруд. Болото с удивительно горластыми лягушками, за которыми теперь охотился Саша, вылавливая их для своих опытов; ручей — Приток зеленых роз, названный так за обилие купавок. Бутоны их очень походили на розы. Магнитная гора. Запруженный ключ — Поварня — все это было хорошо, поэтично. «Така она махонь-

ка, да така развеселая»,— говорили и местные крестьяне о деревеньке Кокушкино.

Их комнаты в мезонине так и звали «ульяновские».

В Кокушкине детей в купальню набивалось так много, что она оседала до скамеек, и лежащее там белье всплывало... Потому мать и отец старались выкупаться пораньше, на заре. Как-то Илья Николаевич, любивший на природе почитать стихи, размечтался и забыл в купальне калоши. (Пройти по топкому берегу после дождя тоже было непросто.) Не успел он прийти домой, как дети, свежие, с мокрыми волосами, пахнущие чудесной речной водой, зашумели вокруг самовара. Тоненькая насмешница Аня, искоса поглядывая на отца, продекламировала:

Отец, отец, возьми калоши,
В купальне их не оставляй,—

и, выскочив из-за стола, подняла припрятанные под диваном калоши.

Илья Николаевич приезжал в Кокушкино позже всех. Задерживался с отчетами. На съездах. Со времени назначения его директором народных училищ дел прибавилось. И все то же кочевье по уездам. Радость постоянно чередовалась с горем: в год рождения Мити — 1874 — больше тысячи юношей и девушек народников были арестованы и сосланы.

Страшный приговор Желябову, Перовской, Кибальчичу. При министре народного просвещения графе Толстом передовых педагогов изгнали. Наставников превращали

в шпиков. Учителя запивали, иные теряли рассудок, как Сердобов.

Дети учатся все. Хорошо, что за мальчиков как за сыновей директора народных училищ не приходится платить в гимназию. На девочек эта привилегия не распространяется.

Мария Александровна думает: муж прав, скептически относясь к классической гимназии с ее древними языками, с забвением естествоведения. Конечно, реальное училище было бы лучше, ближе к жизни. Но в университет готовили только в гимназиях. Приходилось мириться.

Дети уже сейчас знали больше, чем мать, когда она сдавала учительский экзамен. И в этом была ее победа. Их победа с мужем.

Новый директор гимназии Ф. М. Керенский, из духовного звания, в общежитии, казалось бы, милейший человек, на службе — сухарь, писал в своем отчете: «...при изучении образов писателей так называемые критические оценки, для учащихся непосильные, совсем не допускались». Непосильные! Послушал бы он!

Илья Николаевич был уже штатским генералом, имел ордена. А Мария Александровна усмехалась, наблюдая за тем, как он, картавя и хохоча, захлебываясь, играет с детьми в саду — вечный студент. Вольно и легко ему здесь. Она-то знала все, что скрывала его официальная сдержанность.

Съезжались в Кокушкино сестры, племянники. Здесь мать заметила первую любовь старшего сына к Марусе Веретенниковой.

Володя, поступив в гимназию, отказался заниматься музыкой, несмотря на то, что «пара» его — Оля — играла все лучше и лучше. И голосок у нее появился. А какая усидчивая! И какая озорная при этом. Что-то в этой паре есть необычное, идущее наперерез. Мать могла бы приказать Володе продолжать занятия музыкой, но зачем? Не хочет. В этом поддержала его старшая — Анна, зачитывающаяся Писаревым. А молчаливый, спокойный, сам внимательный, опасающийся обидеть других Саша полюбил Базарова, Давыда из «Часов» Тургенева, Долохова у Толстого! Вот уж не ожидала. Скрытый огонь разгорался в этом мальчике. Потому она особенно радовалась его дружбе с умненькой, спокойной Марусей.

Аня восторгалась Андреем Болконским, Маруся — Пьером Безуховым. Как они спорили из-за Неждановa! Аня утверждала даже, что похожа на него. Саша не выносил имени этого героя. Он был вдумчив и честен в выражении своих взглядов, может быть, излишне серьезен. Он написал в школьном сочинении на тему «Что требуется для того, чтобы быть полезным обществу и государству?»: «...чтобы быть полезным обществу, человек должен быть честен и приучен к настойчивому труду, а чтобы труд его приносил сколь возможно большие результаты, для этого человеку нужны ум и знание своего дела... человек должен приучить себя к труду, полюбить его, и труд должен сделаться в его глазах необходимой потребно-

стью его жизни... Умственное развитие необходимо человеку так же, как и нравственное; без него деятельность человека может получить ложное направление и не будет приносить никакой пользы людям...»

Отметка — 4. Подпись — Керенский.

— А ведь мы с тобой могли бы написать то же самое. Правда? — проговорила мать, закрывая ученическую тетрадку.— Подписаться под каждым словом... Это наш сын.

— Длинновато,— пряча растроганность, ответил отец.— Но, конечно, под каждым словом. Хороший мальчик.

Закадычными друзьями стали в Кокушкине Илья Николаевич и младшая Аня Веретенникова, окончившая Саратовскую гимназию и жившая у них. Старший брат ее, холостяк Александр, преподавал древние языки в мужской гимназии, к большому неудовольствию Володи, не любившего «древностей».

Аня попробовала учительствовать в Бугурусланском женском приходском. Она видела в Илье Николаевиче учителя жизни. Мечтала стать врачом, лечить только в деревне, только в самой глуши, среди инородцев, более всего нуждающихся в помощи. С нею Илья Николаевич делился своими, так и не осуществившимися планами создания воскресных школ для родителей учеников.

Мария Александровна со старшей сестрой устраивались в угловой комнате, а Илья Николаевич — в кабинете. Рядом с ним — Володя и Коля Веретенников, которые, не

затрудняя себя долгим хождением, лазали к себе прямо в окно или из цветника через балкон.

Всей семьей с увлечением клеили воздушного змея, мастерили ходули. Играли в «казацкую вольницу». Ходили в деревню, на реку, в лес. Дружбы, завязанные в детстве, множились.

Читали Гоголя и однажды, нарядившись «привидениями», напугали трусоватого гимназистика, гостившего у них. От мамы попало. Она утихомиривала детей музыкой. Увлекаясь, рассказывала содержание любимых опер. Особенно нравилась ей «Асколь-дова могила» Верстовского. Рассказывая, она брала аккорды на рояле. Дети, да и взрослые теснее окружали ее. Музыка завораживала. И вот уже Мария Александровна умолкает и только играет. Зачитывались Некрасовым, поэтами «Искры», сами писали стихи.

В 1882-м отец решил порадовать детей поездкой на всероссийскую промышленную выставку — Аня решительно отказалась. Она была отзывчива, самоотверженна и скромна до аскетизма. Отказалась от платьев, которые хотела шить ей мать. Одевалась только на свои деньги, зарабатывала уроками. Поступила помощницей учительницы.

Мать видела: Саше очень хочется на выставку. Его будущее определилось, Саша стремился в Петербург. В университет, где преподают Менделеев, Сеченов, Бутлеров!

Саше поездка на выставку дала бы много. Но он, конечно, поддержал сестру. Оба знали весьма скромные материальные возможности родителей.

Мария Александровна попыталась убедить: «Папа же сам предлагает».

У них складывались убеждения, ничего не поделаешь.

На выставку отец не поехал. Это было печально. Дети еще не умели соразмерять силу удара. Не подумали, что лишили удовольствия отца.

После суда над народовольцами Саша стал молчалив, хмурился. На вопрос отца: «Идешь со мной ко всенощной?» — коротко ответил: «Нет!»

Больше разговоров на эту тему не было.

Оля часами сидела за роялем, вызывая удивление и одобрение Володи: «Завидное упорство!»

Мария Александровна хорошо узнала ее подруг: худенькую Варю Половцеву, озорную круглолицую Веру Юстинову, веселую вертушку Сашу Щербо — пожалуй, самую близкую приятельницу Оли. Хорошенькую Нину Супротивнович — дочку военного врача, чудачку Штраль с замысловатыми прическами, Матвееву, Олю Петрову и Катю Нагаткину. Девочки рассказывали ей о своих делах иногда больше, чем друг другу.

Собравшись вокруг овального стола в гостиной под чугунной лампой с матовым абажуром-тюльпаном, они любили слушать игру Марии Александровны. Но все чаще слушала их она. Сидела на диване, уронив

тонкую руку на стол, и свет лампы поблескивал на обручальном кольце.

Не говори, что молодость сгубила,—

глубоко звучит девичий голос. А молодость-то вся впереди!

Вечер кончался чаем, если не уходили в театр с Екатериной Андреевной Зандман.

Володя дружил с Колей Кузнецовым. Отец Коли служил лакеем. Они сидели на одной парте, вместе читали, пробовали переводить с немецкого.

Володя постоянно помогал товарищам учиться, объяснял непонятное коротко, ясно, ему самому это доставляло удовольствие. Как-то он объявил родителям, что будет готовить учителя-чуваша Охотникова в университет. Отец был неприятно удивлен:

— Нужно ли тебе сейчас думать о заработке, да и Никифору Михайловичу это затруднительно.

— Да нет, папа, я бесплатно. Что ты... Иначе он не выдержит. Очень хочется помочь именно ему. Такое стремление учиться, а сил не хватает.

Был конец месяца. Двадцатого отец получал жалованье и почти все отдавал жене. Мария Александровна сидела у окна за своим маленьким столом и раскладывала деньги. Неожиданно вошел Саша. Она подняла голову, взглянула на сына и, ему показалось, немного смутилась. Спросив что-то неважное, он быстро вышел. Когда отец ска-

зал, что будет посылать ему сорок рублей в месяц, солидную для студента сумму, Саша ответил:

— Мне достаточно тридцати.

Отец усмехнулся:

— Это не затруднит нас с мамой, не беспокойся.

Саша упрямо молчал.

Осенью Аню и Сашу проводили в Петербург. Аня — старшая, а за нее тревожней. Слабенькая. И дома-то прихварывала. В Петербурге ест как попало. Конечно, неладно с желудком. А Саша, за которого меньше тревожились, подхватил возвратный тиф.

На первых каникулах без конца рассказывали о новых впечатлениях. Саша — о физико-математическом факультете, Аня — о Бестужевских курсах. О коротко остриженных девушках.

— Мне не нравится их вид,— заметил Саша.

— Лучше жеманницы-нарядницы? — пошутила сестра.— Скажи, как, по-твоему, должна одеваться настоящая женщина?

Саша помолчал, потом ответил:

— Например, как мама.

А с Марией Александровной чудеса происходили. Прежде ей давали лет больше, чем было. Сейчас, когда она видела плоды своих трудов, что-то появилось в ее облике легкое, светлое. Лицо стало тоньше, моложе. Она же, вглядываясь в зеркало, с грустью думала: волосы поредели, уши какими-то большими кажутся. И стала носить кру-

жевную наколку. Наколка еще больше молодила ее.

Оставшись наедине с отцом, Саша вручил ему восемьдесят рублей.

— Это откуда?

— Я же говорил, что тридцати будет хватать.

Володе брат привез книгу Маркса «Капитал», и они с Колей Кузнецовым хотели перевести ее, но работа оказалась весьма трудной.

Саша все лето возился с кольчатыми червями. Занятия Володи одобрял. Говорил с отцом о необходимости бесплатного просвещения для народа. Илья Николаевич не всегда отвечал сыну. Его мучили свои горести. Работать становилось все труднее. Ульянов не раз сталкивался с преподавателями — деревенскими пастырями, с дьячками — пьяницами и стяжателями, боролся с их дурным влиянием. Заменял их в школах молодыми передовыми учителями. А теперь по приказу министра Толстого опять нужно очищать место для попов. Все в душе Ильи Николаевича восставало против этого. Рушилось дело его жизни.

Учебный 1885/86 год оказался тяжелым. Зима крутила метельная. В декабре надо было объехать школы Корсунского и Сызранского уездов. Списались со старшими детьми. Решили, что отец встретит их в Сызрани, когда поедут на каникулы, и все вместе заявятся домой к сочельнику. От одной мысли об этом дне у него становилось теплее на душе. Ночевал он в нетопленых про-

куренных постоялых дворах. Ему казалось, что ни енотовый воротник шубы, ни чапан, накинутый поверх нее, не греют. Знобило.

Аня приехала без Саши. Саша решил закончить свою конкурсную работу. Аня рассказывала, что перспективы у него замечательные. Профессора двух кафедр предлагают ему остаться у них после университета: Бутлеров (сам Бутлеров!) при кафедре химии, Вагнер — при кафедре зоологии.

Илья Николаевич очень продрог по дороге домой. И дома в теплых комнатах все не мог согреться.

Святки прошли весело. 6 января собрались немногие сослуживцы. Илья Николаевич даже танцевал польку с Аней. Внезапная тревога вдруг сжала сердце жены.

«Все ли хорошо?» — спросили ее глаза.

«Не тревожься, родная»,— ответил взгляд мужа.

Через несколько дней Илье Николаевичу стало плохо. Они говорили с ним о все большем насаждении церковно-приходских школ, находившихся в ведении духовенства, и он разволновался. Но потом порадовался за Сашу. Долго говорили о детях. Одиннадцатого вечером он слег. Аня читала ему бумаги и вдруг заметила, что отец бредит. Вызвали врача.

Кто-то сказал: когда дом достроен — смерть входит в дом. Неправда! Дом согрет дыханием семьи. Полон звуков, движений, свойственных только ей, но смерть входит. Невозможно с ней примириться. Вот только что говорил, дышал, присел к столу, но ска-

зал, что побаливает желудок, обедать не будет, посмотрел на всех, ушел, прилег, еще раз выглянул, ничего не сказал, прилег снова, затих.

Навестили Яковлевы, поздравили с полученным орденом. Не улыбнулся. Врачи сказали — пройдет.

Мария Александровна не могла обедать. Зашла к мужу, укрыла пледом. Как будто задремал. Но и во сне его бил озноб. А это была уже агония.

На следующий день пришла Вера Васильевна Кашкадамова. Удивленные круглые глаза ее были совсем испуганными.

— А у нас пятую панихиду служат,— встретил ее Митя.

Кашкадамова заплакала.

Илья Николаевич лежал в гробу. Мария Александровна, никого не замечая, стояла возле. Вере Васильевне стало дурно. Она едва дошла до дома.

Аня, видя состояние матери, обняла ее и тихо сказала:

— Не поеду я. Останусь.

Мать, не понимая, подняла глаза. Понемногу в них появилось удивление:

— Поедешь. Надо, Анечка.

Как же она одна? Да не одна — дети. Но без него! Возможно ли это? Значит, возможно. Надо выпрямиться, думать о жизни. А слезы бегут, бегут по впалым щекам.

Сашу решили не вызывать. Не нужно мешать его работе.

С утра 14 января 1886 года вся улица была запружена учениками и сослуживцами Ильи Николаевича. Процессия направилась в приходскую церковь. Несли венки с необычными длинными надписями на траурных лентах от учителей и учительниц города Симбирска, от Симбирского трехклассного городского училища, от друзей, родных.

В газете напечатан был большой некролог: «...да поможет господь супруге его, пользующейся заслуженной известностью образцовой матери, выполнить с успехом великое дело воспитания и образования оставленных на ее попечение детей».

— Это старый студент. Он остался таким, каким сидел на студенческой скамье. Верен был юношеским идеалам,— говорили в толпе об Илье Николаевиче. Говорили об открытых им школах, об учителях-ульяновцах, о нестаревшей его чистой душе.

Много лет спустя воспитанник Пензенского дворянского института врач Филатов напишет в своих воспоминаниях: «Почему из нас вышли люди, а не нравственные уроды? Мы обязаны отчасти влиянию своих родителей... отчасти же влиянию тех учителей, которые вносили в нашу жизнь честный взгляд и высокие нравственные принципы. Такими светлыми личностями были учителя русской словесности Логинов, Захаров, учитель математики И. Н. Ульянов... Я любил одно время математику, пока ее преподавал в институте Ульянов... Он вносил в нашу жизнь отвращение к карьеризму и к материальной наживе...»

После похорон Мария Александровна нашла силы зайти к Вере Васильевне. Такой друг и не проводила... Значит, худо ей. Действительно, Кашкадамова лежала в постели. Мария Александровна говорила ей слова утешения. Нет, не в тумане мир перед нею. Окаменело все.

Пришла телеграмма Саши: «Телеграфируйте подробности смерти папы».

Занять, занять себя делом, не думать, не думать. Работать.

Замкнулась. Ушла от общества, от знакомых. Не хотела быть в тягость. Не хотела соболезнований. Ей предложили получить последнюю звезду мужа. За орден полагалось внести деньги. Лишних денег не было. Она отказалась. Что орден! Пришлось сдать жильцам половину дома. Поселились тесней: мать с дочерьми, Володя с Митей. Продали часть мебели. Но с роялем не расстались. Оказалось много хлопот по наследству. Бумаги, бумаги, они наводнили их дом...

«Прошение в окружной суд

...особого же заявления о составе и ценности наследства не прилагаю, потому что все оставшееся после мужа имущество заключается в домашней движимости и капитале в две тысячи рублей, находящемся в Симбирском городском общественном банке по билету оного за № 12465, причем на долю каждого из наследников приходится менее тысячи рублей».

«1886 сентябрь 19 дня по указу Его императорского величества... утвердить в пра-

вах наследства Марию Александровну Ульянову в одной четвертой части, несовершеннолетних дочерей его Ольгу и Марию Ульяновых каждую в одной восьмой части и несовершеннолетних же сыновей его Александра, Владимира и Дмитрия Ильиных Ульяновых,— каждого в одной шестой части».

Назначено было ей на воспитание детей пособие — 150 рублей, а до этого: «...не пожелает ли она получить вышеупомянутые орденские знаки со внесением причитающихся за них ста пятидесяти рублей».

Как в насмешку!

«Вдова Ульянова не пожелала принять орденские знаки, пожалованные ее покойному мужу».

С детства знала она цену наградам и званиям. С Ильей Николаевичем они думали одинаково. К чему были эти знаки теперь! А департамент народного просвещения требовал: «...взыскать с вдовы... из пенсии 120 рублей, числящихся в недоимке на покойном муже ее по Всемилостивейше пожалованному ему ордену св. Станислава I степени. Август 1886 г.», «приостановить взыскание впредь до выяснения последствий ходатайства перед г-ном министром народного просвещения 30 янв. 1887 г.».

Вспомнила, как однажды за партией шахмат отец говорил ей о своем дворянстве в награду «за долголетнюю и безупречную службу». Снова бумаги...

Это полученное в детстве и утраченное в замужестве дворянство, снова приобретенное тяжелым трудом Ильи Николаевича, не нужно ни ей, ни ему. Только ради детей...

«Симбирское дворянское Депутатское собрание постановлением 17-го июня 1886 года внесло в третью часть дворянской родословной книги вдову действительного статского советника Ильи Николаевича Ульянова Марию Александровну с детьми их...»

«...Всемилостивейше пожалован орденом св. Владимира III степени, каковым приобрел потомственное дворянство... означенное не распространять на дочь... Анну по не заявлению ее, как совершеннолетней, личного ходатайства».

Не подала!

Саша получил золотую медаль за научную работу «Об органах сегменторных и половых пресноводных Аннулата». Получив его письмо, Мария Александровна заплакала: «Не дожил папа...»

В марте 1886 года написала она старому другу Формаковскому. Ему, она знала, в самом деле важно было знать все об Илье Николаевиче:

«Многоуважаемый Владимир Игнатьевич, от всей души благодарю Вас за Вашу добрую память о покойном муже моем и за сочувствие Ваше моему горю! Не только за полгода, когда Вы видели в последний раз Илью Николаевича, но и в день смерти его нельзя было предвидеть такой страшной катастрофы! Вы, может быть, слышали, что Илья Николаевич почти не болел. 11-го ян-

варя он почувствовал себя дурно; доктор, которого мы пригласили, совершенно успокоил нас, уверяя, что нет ничего серьезного, а просто гастрическое состояние желудка. А между тем какая-то безотчетная тоска мучила меня! Вечером я опять просила доктора, он повторил то же самое, был и на другое утро, в день кончины Ильи Николаевича, и нашел, что состояние его здоровья улучшилось. Илья Николаевич и сам говорил, что чувствует себя лучше, он и ходил по своей комнате в тот день, принимал некоторых знакомых и вместе с Владимиром Михайловичем читал и дополнял кое-что в только что оконченном отчете. В пятом часу после обеда его уже не стало! Скончался он совсем тихо, без всяких страданий, я долго думала, что с ним обморок! Доктор говорит, что, вероятно, было кровоизлияние на мозг! Только раньше не видел ничего серьезного! Еще грустное известие имею я сообщить Вам, Владимир Игнатьевич. Дней пять тому назад вернулся Владимир Михайлович Стржалковский из уезда совсем больной...

Симбирск. 19 марта 1886 г.

P. S. 20 марта. Сейчас узнали, что Владимир Михайлович скончался нынче утром в 7 час.

Душевно жаль мне его».

Отвратительны были для нее все эти хождения и хлопоты по наследству, унылы и подчас оскорбительны, но поддерживало общее уважительное сочувствие. Оно было искренним даже со стороны чиновников, недолюбливавших Илью Николаевича, терзавших его бюрократизмом, раздражением против «инородческой деятельности» его. Новые школы, молодые передовые учителя — это было главным наследством непредставительного по внешности статского советника в потертом учительском мундире, с таким наивно-открытым всему доброму лицом, не защищенным ни напыщенностью, ни высокомерием. Сам чистый, честный, он ждал такого же отношения к столь очевидно благородному делу от других, и, когда наталкивался на равнодушие, удивление мелькало в его глазах, а уж потом возмущение, упорство, напор, с каким он бросался в бой... Все это знала жена. И невольно отношение мужа к жизни глубоко усвоила, приняла, сделала своим. Не могла иначе. Даже недоброжелатели уважали его память, огромность сделанного им за семнадцать лет.

Разорение гнезда? Да разве и в летнем флигельке во время ремонтов дома не бывало им так же хорошо всем вместе, так же счастливо! Лишь бы дети выстояли и добились своего.

Аня запустила было экзамены. Володя, вроде бы дерзкий мальчик, оказался отличным педагогом. Щадя самолюбие старшей сестры, помог ей в латыни. Экзамен Аня сдала хорошо. Володя бегал по урокам. Занимался и со своим великовозрастным Охотниковым. Помогал соседу — Коле Нефедьеву. Зазывал его к себе, как только встретит, чумазого, идущего с работы из типографии, да еще так деликатно расспрашивал о наборном деле, что казалось, Коля помогает Володе, а не Володя ему, натаскивая по грамматике и арифметике.

Саша! Вот ее надежда, опора. Талантливый ученый, внимательный сын, немногословный, беспристрастный до жестокости друг. На него можно положиться, что бы ни случилось. Какое это счастье для матери! Наверное, немного от нее у Саши присталь-ная любовь к природе. От них обоих с Илюшей — безоглядная способность, решимость всем жертвовать ради знания, ради дела.

Как мудра и замечательна жизнь! Их — старших, родителей — не будет, а самое лучшее от них останется в детях. И то, что у них было в самом зачатке, в молодых разрастется, разовьется больше, лучше... Вот ей всегда хотелось писать, хотя бы так, как сестра Анна,— а дочка Аня пишет лучше, серьезнее. И разве Оля играет, поет не луч-

ше ее? Видно, таков закон жизни. Надо спросить Сашу, как объясняют это естественные науки.

Малыши... Что ж, у малышей еще все впереди. И старшие помогут им стать достойными будущего. Особенно Саша.

Она замечала, что у Саши и Володи, до обожания любившего старшего брата, последнее время появилось не то чтобы отчуждение, а что-то новое. Оба ее любят, но Саша будто все настороже. Припомнила, что еще до отъезда Саши попросила она Володю принести дров к печке, а они с Сашей играли в шахматы.

— Сейчас,— буркнул Володя.

Саша коротко, удивленно взглянул на него. Прошел час.

— Володюшка, я жду.

— Ну что ты в самом деле, видишь же...— отмахнулся Володя.

Саша отодвинул доску:

— Пока не сделаешь того, что просит мама, играть не буду.

Володя вскочил, но сдержался. Ничего не ответил. Пошел за дровами. Это он только так, ершится, еще не вырос совсем. А на самом деле деликатный и любящий. Она это знает. Ее не обманут вспышки дерзости.

Резкий звонок.

Мария Александровна откладывает вязание, быстро проходит в переднюю. Так и есть — Володя. Он входит, как-то искусственно бодрясь. Бледен. Долго снимает калоши. Она наблюдает за ним. Стычка с Керен-

ским? Не надо бы. Директор при всей своей сухости ценит Володю. Особенно тщательно носком ботинка Володя загоняет калоши в угол. Решительно тряхнув головой, сын проходит в комнату:

— Мама, ты пока не волнуйся (пока?). Вера Васильевна получила письмо от Кати Песковской — Саша и Аня арестованы.

Вот оно!

Она не спросила ничего, только торопливо вернулась в переднюю. Володя подал ей пальто, шапочку. Ни слова не вымолвив, она ушла.

Вера Васильевна открыла дверь испуганная, готовая говорить, говорить, говорить, успокаивать, но говорить ничего не пришлось. Мария Александровна поздоровалась наклоном головы. С трудом разжала побелевшие губы:

— Где письмо?

Учительница бросилась к комоду, протянула листок. Молча, не садясь, Мария Александровна прочла. Вернула.

— Я сегодня уеду. Навещайте, пожалуйста, без меня детей.

— Голубушка!

Но ее уже не было в комнате.

Володя не нашел попутчиков (с попутчиками на лошадях было дешевле и спокойнее). Она поняла почему. Уже разнеслось! По решительному, непривычно суровому лицу Володи все было ясно.

— Какая все это, оказывается, мерзкая и трусливая публика! Фарисеи! Я прошу тебя, мама, поезжай одна.

— Это серьезно?
Володя понял ее.
— Боюсь, что да.
— Телеграфируй Марку Тимофеевичу.
Марк Тимофеевич Елизаров был новым другом Ани и Саши.

Снег и дождь. Переменчивая симбирская погода. Хоть и говорили, что дом держится на Марии Александровне, она жила за спиной Илюши. Если было трудно — он был с ней. Родной, надежный, скала! Настало время ей самой становиться скалой, защитой. Надо вспомнить, кто настоящий друг, кто может помочь. Катя Песковская? Что она! Но муж у нее журналист. Правда, немного «борзописец». Мария Александровна поморщилась, упрекнула себя в злоязычии. Марк! Марк Елизаров — Саша и Аня много рассказывали о нем. Ей даже показалось, что Аня говорила о нем не совсем равнодушно. Вот с ним посоветоваться, опереться душой. Потому что предстоят хождения по присутствиям, и, если здесь, в Симбирске, ее встречали с поклонами, тем более низкими, чем более были виноваты перед памятью Ильи Николаевича, там этого не будет.

Не забыть взять визитные карточки. Достала из стола пачку похожих на пластинки из слоновой кости картонок:

«Вдова
Действ. ст. сов.
Мария Александровна Ульянова».

— Ты, Володя, останешься за старшего. Вера Васильевна будет заходить. Занятий ты не забросишь, знаю. Буду писать. Может быть, понадобится твоя помощь.

Марк Тимофеевич встретил ее в Питере на вокзале. Усмехнулся.

— Уволили меня со службы. Так я и ожидал.— Рассказал подробности покушения на царя.

Екатерина Ивановна Песковская, стараясь хоть немного отвлечь тетку от тяжелых дум, рассказывала о том, как Саша бывал у них.

— Любил петь.

Мария Александровна удивилась:

— Да у него ни слуха, ни голоса.

— Что ты, Маша, как-то устроили вечеринку, и он со всеми пел «Полосыньку», «Пришла пора, защебетали птицы». Господи! — Она перебила себя, вспомнив слова песни.

— «А он, бедняк, сидит в стенах темницы»,— голосом без выражения подсказала Мария Александровна.— Так и есть. Он знал.

— «Замучен тяжелой неволей» просил петь,— упавшим голосом подтвердила Екатерина.— Матвей тогда возразил, что это похоронное... Да что я такое говорю...

— Если дадут пожизненную каторгу, я тогда уеду с ним,— неожиданно вырвалось у Марии Александровны,— старшие дети уже большие, а младших возьму с собой.

Володя занимался целыми днями. Он сразу стал серьезным, даже мрачным. Но, выходя к меньшим, шутил, помогал мастерить игрушки. Приносил ребусы и шарады, решал вместе с детьми. Играл с ними в лото.

В Петербурге Марк Тимофеевич всюду сопровождал Марию Александровну, дожидался на улице, пока она ходила в приемные директора департамента полиции Дурново, министра внутренних дел, прокурора...

Она ничего не добилась. Последняя надежда была — написать царю.

Песковские горячо принимали к сердцу ее беду. Это были люди, искренне привязанные к семье Ульяновых, гордившиеся успехами Саши, его будущей, близкой профессорской карьерой. То, что молодой ученый на пороге полного устройства жизни сломал свою будущность, казалось журналисту, в прошлом педагогу, активному земцу, Матвею Песковскому ни с чем не сравнимой глупостью. На второй день после ареста Саши и Ани он послал письмо директору департамента полиции: «...в ночь с 1-го на 2-е марта нынешнего года арестованы студент 4-го курса физико-математического факультета С.-Петербургского университета Александр Ульянов и родная сестра его, слушательница 4-го курса С.-Петербургских женских курсов Анна Ульянова. Мать Ульяновых — родная тетушка моей жены. Как ближайший родственник молодых людей — осмеливаюсь... ходатайствовать за них. Ульянов очень дельный... зарекомендовавший се-

бя блестящими успехами в науке, он имеет по золотой медали — из гимназии и университета. Ульянова — барышня в лучшем смысле этого слова... Это достойная семья, где связь между родителями и детьми образцово крепка...»

Письмо не помогло.

Песковский уважал Марию Александровну и высоко ценил достоинство, с которым держалась она. Но следовало, думал он, как-то выйти из ужасного положения. Хороший адвокат? Прошение на высочайшее имя? Но Саша от адвоката отказался. Отказался обратиться к государю. Такой принципиальности, упорства Песковский уже не мог одобрить. Во что бы то ни стало нужно спасти Сашу. Вид окаменевшей в горе матери угнетал Песковских.

О «деле» много говорили в Петербурге. В студенческих кругах стало известно, что выдали всех Канчер, Горкун, Волохов, Меркулов.

— Матвей обязательно придумает что-нибудь,— твердила Екатерина Ивановна,— он всегда находит выход.

Она была второю женою многодетного вдовца Песковского. Служила в женской гимназии, была страстной общественницей. Сотрудник столичных газет и журналов, Песковский многое и многих знал. Он напомнил о том, что сенатор Таганцев и обер-прокурор Неклюдов — бывшие ученики Ильи Николаевича по Пензенскому дворянскому институту. Это действительно могло помочь. Но прежде всего — Саша! Мария

Александровна с ним должна поговорить прежде всего. Неужели он действительно виновен? Тем более Аня... Она увидит их и сразу все поймет.

Марк рассказал ей о том, что Сашу выбрали секретарем литературно-научного студенческого общества, но за два-три месяца до 1 марта он отказался от секретарства. Вот это тревожно, как будто он опасался бросить тень на кружок, хотел сберечь его, нервничал.

Свидание с Аней разрешили. Аня поразила мать землистым цветом лица, но глаза упрямо блестели. Она восхищалась братом.

Мать понимала, что Сашино дело серьезное. Но не так же серьезно, как об этом ей говорили жандармы?! Покушение ведь не состоялось. И Саша не мог, не мог стрелять в царя. Серьезный, дни и ночи просиживавший в своей лаборатории, честный, искренний... Ах, слишком честный, слишком искренний, не признающий компромиссов. Не она ли все сделала, чтобы воспитать его таким! Она напишет государю. Он спасся и должен быть снисходителен:

«...Горе и отчаяние матери дают мне смелость прибегнуть к Вашему величеству, как единственной защите и помощи.

Милости, государь, прошу! Пощады и милости для детей моих.

Старший сын Александр, кончивший гимназию с золотой медалью, получил медаль и в университете. Дочь моя Анна успешно училась на Петербургских высших женских курсах. И вот, когда оставалось всего лишь

месяца два до окончания ими полного курса ученья, у меня вдруг не стало старшего сына и дочери... Слез нет, чтобы выплакать горе. Слов нет, чтобы описать весь ужас моего положения.

Я видела свою дочь, говорила с нею. Я слишком хорошо знаю детей своих и из личных свиданий с дочерью убедилась в полной ее невиновности. Да, наконец, и директор департамента полиции еще 16 марта объявил мне, что дочь моя не скомпрометирована... Сын был всегда... глубоко предан интересам семьи и часто писал мне. Около года тому назад умер мой муж, бывший директор народных училищ Симбирской губернии. На моих руках осталось шесть человек детей, в том числе четверо малолетних. Это несчастье, совершенно неожиданно обрушившееся на мою седую голову, могло бы окончательно сразить меня, если б не та нравственная поддержка, которую я нашла в старшем сыне, обещавшем мне всяческую помощь и понимавшем критическое положение семьи без поддержки с его стороны.

Он был увлечен наукой до такой степени, что ради кабинетных занятий пренебрегал всякими развлечениями. В университете он был на лучшем счету. Золотая медаль открывала ему дорогу на профессорскую кафедру, и нынешний учебный год он усиленно работал в зоологическом кабинете университета, подготовляя магистерскую диссертацию, чтобы скорее выйти на самостоятельный путь и быть опорой семьи...

О, государь! Умоляю — пощадите детей моих! Нет сил перенести это горе, и нет на свете горя такого лютого и жестокого, как мое горе! Сжальтесь над моей несчастной старостью! Возвратите мне детей моих! Если у сына моего случайно отуманился рассудок и чувства, если в его душу закрались преступные замыслы, государь, я исправлю его: я вновь воскрешу в душе его лучшие человеческие чувства и побуждения, которыми он так недавно еще жил!

Я свято верю в силу материнской моей любви и сыновней его преданности и ни минуты не сомневаюсь, что я в состоянии сделать из моего несовершеннолетнего еще сына честного члена русской семьи...

Милости, государь, прошу, милости!

Мария Ульянова

28 марта 1887 г.
С.-Петербург
Васильевский остров. Средний проспект, дом 32, кв. 5».

Да. Так. Она написала то, что думала и чувствовала. Человек с душой не может не понять, не поверить. Но Александр III не был человеком с душой. Он прочел ее письмо. «Это даже любопытно — такое красноречие».

Никогда не узнала мать, что около строчки «я вновь воскрешу в душе его лучшие человеческие чувства» самодержец всероссийский размашисто начертал довольно простым слогом: «А что же до сих пор она смотрела!»

И наложил резолюцию: «Мне кажется желательным дать ей свидание с сыном, чтобы она убедилась, что это за личность — ее милейший сынок, и показать ей показания сына ее, чтобы она видела, каких он убеждений». Вежливостью он не страдал, стилистом тоже не был.

Министр внутренних дел решил использовать свидание для того, чтобы мать уговорила сына выдать своих товарищей.

На ее письме Дурново написал: «Привести ко мне г-жу Ульянову к 12 часам».

И был любезен:

— Чистосердечное признание и раскаяние послужат к облегчению его участи...

Пропуск был ей выдан. Что творилось за ее спиной, она не знала, но была готова ко всему. Сердце как будто сжал раскаленный обруч и не отпускал. Она не замечала ничего по сторонам, когда шла на свидание в среду 1 апреля. Ее провели сырым полутемным коридором Петропавловской крепости в камеру. Сколько камня и железа! Как тут можно согреться?

Саша вошел. Нет, его ввели к ней. На нем был серый нечистый халат. Исхудалое лицо, пробившаяся бородка, да разве это ее Саша? Он! Служитель с грохотом отпер какой-то замок и опустил койку. Мать села. Саша бросился к ней: «Мама, прости меня!» — Охватил руками ее колени.

— Наверное, это неправда, Сашенька, то, в чем тебя обвиняют. Мы возьмем адвоката, и он все сумеет доказать,— говорила и уже

не верила себе, нутром чувствовала, что все это лишнее, что Саша сделал *то*.

— Не нужно адвоката. Я буду говорить сам. Кто лучше меня знает все обстоятельства? Я принимал участие в покушении. Только тебя, мама, жаль. Прости меня...— Он целовал ее руки, прижимался лицом к ее рукам.— И за Аню прости, но она ничего не знает. Так я виновен перед нею, но иначе поступить не мог. Кроме долга перед всеми вами, у меня долг перед родиной.

— Но эти средства так ужасны.

— Что же делать, если нет других...

— Может быть, возможно раскаяние, прошение?

— Это было бы неискренне. Я не могу лгать, ты сама меня таким воспитала, мама. Я хотел убить человека, значит, и меня могут убить.

Убить? Этого она еще не могла осознать. Не настаивала, не уговаривала. Ему стало бы еще тяжелее. Она не терзала его выбором. Говорили о младших, о том, что Володя тоже кончит с золотой медалью, что он стал спокойнее, взрослее...

Песковский негодовал. Он понимал, что такое самоотречение, благородство; как газетчик, хорошо знал процесс Желябова, Перовской. Но ведь это не Желябов, а Саша, мальчишка в гимназической курточке, каким он представлял его. Она сошла с ума, да и он тоже! Даже если не так, нужно доказать это.

Песковский от себя написал в департамент полиции: «...трудно не заподозрить

нормальность его умственных способностей — так резка несообразность в том, чем был Ульянов и чем он оказался по делу 1 марта».

Получалось убедительно. Но никого не убедило.

Неверная петербургская весна все сильнее дышала морской свежестью, но прокуренный воздух присутствий душил Марию Александровну. Там она узнала, что на одном из заседаний суда можно быть родственникам.

Войдя в переполненный зал, она увидела всех подсудимых разом и разглядела Сашу. Он заметил ее. Приподнялся и поклонился. Она не смогла пробиться в первые ряды, села подальше, чтобы все время видеть его. Она не сразу стала понимать и слышать все — до того колотилось сердце, толчками крови оглушая ее и туманя глаза. Вполне удалось ей сосредоточиться, когда донеслось: «Подсудимый Ульянов!» И отчетливый, глуховатый голос Саши.

— Относительно своей защиты, я нахожусь в таком же положении, как Генералов и Андреюшкин. Фактическая сторона установлена вполне верно и не отрицается мною. Поэтому право защиты сводится исключительно к праву... рассказать о том умственном процессе, который привел меня к необходимости совершить это преступление...

(Вот это он и имел в виду, отказываясь от адвоката! — пронеслось в ее мыслях.— Он объяснит, все объяснит и, может быть...)

...Я могу отнести к своей ранней молодости то смутное чувство недовольства общим строем, которое, все более и более проникая в сознание, привело меня к убеждениям, которые руководили мною в настоящем случае... Есть только один правильный путь развития — это путь слова и печати, научной печатной пропаганды, потому что всякое изменение общественного строя является как результат изменения сознания в обществе.

(Как тихо стало в зале. Никто не перешептывается, не шевелится.)

Это положение вполне ясно сформулировано в программе террористической фракции партии «Народная воля»...

(Он долго говорит. И так убедительно, спокойно. Я не думала, что он может так говорить.)

...При отношении правительства к умственной жизни, которое у нас существует, невозможна не только социалистическая пропаганда, но даже общекультурная; даже научная разработка вопросов в высшей степени затруднительна...

(Председатель Дейер перебил Сашу. Что он отвечает? Не слышно. Зашумели. Опять говорит Саша. Не то перебивает его, не то спрашивает председатель. Прокурор Неклюдов. Обрюзгшее лицо не сохранило черт прежнего воспитанника института. Ученик! Какие разные — Каракозов, стрелявший в

царя, и Неклюдов, который добивается смерти сына своего учителя.)

...везде, где есть сколько-нибудь сознательная жизнь, эти требования находят сочувствие...

(Шумно. Плохо слышно.)

...и только в террористической форме может защитить свое право на мысль и на интеллектуальное участие в общественной жизни...

(Больше она не могла слушать. Нужно уйти. Не показать своей слабости. Ему будет хуже без нее? А если она упадет при нем без сознания? Она добьется свидания. Пойдет к Таганцеву. Он был на суде. Это ведь не Неклюдов.)

Она поднялась и, с трудом пробравшись сквозь толпу, вышла на улицу.

Она не слышала приговора.

— Речь Саши сравнивают с речью Желябова,— сказал ей Марк.

Разве это было сейчас важно? Она узнала адрес Таганцева и отправилась на Кирочную, 3. Лакей сказал, что Таганцев недавно приехал из заседания суда.

— Доложите.

Ее полная достоинства прямая фигура, осанка, темное платье и темная маленькая шляпка на седых волосах не допускали сомнений в том, что эта дама «своего круга».

Лакей быстро вернулся.

— Просят.

Она вошла в кабинет. Таганцев поднялся из-за стола ей навстречу, не узнавая и на

всякий случай делая любезное лицо. Он устал. Это было заметно.

— Николай Степанович, вы меня не узнаете? Да ведь я — Ульянова, в Пензе вы у нас бывали.

Что-то похожее на сочувствие зажглось в его глазах.

— Как же... как же...— пробормотал он смущенно, пододвигая кресло Марии Александровне.

Она не сразу смогла говорить.

— Сегодня судили моего сына за покушение на жизнь государя!

Сенатор опустил глаза.

— Такой симпатичный молодой человек,— сокрушенно выговорил он,— предан идеям...

— Ради бога, помогите; мне сказали, что вы это можете; я хочу увидеть моего несчастного сына...— И приложила платок к покрасневшим от слез глазам.

«Еще не знает»,— пронеслось в мыслях Таганцева. Он пытался отговорить ее, но скоро понял, что убедить не удастся. Он написал записку прокурору судебной палаты Эдуарду Яковлевичу Фуксу, от которого зависело разрешение свиданий.

Ее пропустили в дом предварительного заключения. Теперь она уже знала приговор.

Лицо сына изменилось за одну ночь. Из него словно исчезла вся кровь, и глаза ушли вглубь. Будто он был с нею и уже не с нею.

Молодой товарищ прокурора Князев, распахнув дверь в камеру, не вошел, а деликатно остался в коридоре.

— Саша, ты должен, должен подать прошение о помиловании. Подумай о нас.

— После всего, что я признал на суде? Не могу я сделать этого. Пойми. Это было бы неискренне,—он осторожно взял в ладони ее залитое слезами лицо.

— Он прав, он прав! — не удержавшись, воскликнул Князев.

— Слышишь, мама, что люди говорят? Ведь единственная замена может быть Шлиссельбург, пожизненно. Книги только духовные. До полного идиотизма дойдешь. Неужели ты этого хочешь для меня?

— У тебя вся жизнь впереди, Саша, мальчик мой. Мало ли что случится... Напиши!

— Нет, мама. У нас так мало времени. Давай о другом. Пока это возможно,— он усмехнулся бескровными темными губами.— У меня просьба к тебе. Я медаль свою заложил. За сто рублей. Выкупи, пожалуйста, и продай — она стоит сто тридцать, а тридцать я должен товарищу. Тулинову некоему. Сделаешь, мама?

— Да-да,— отвечала она, почти не сознавая происходящего,— все сделаю, но, может быть, тебе еще что-нибудь нужно, скажи.

— А! Да! Гейне! Очень хотел бы...— Саша провел рукой, откидывая волосы назад, жест милый, знакомый с детства.

— Конечно, конечно,— повторяла она,— только где бы...

Измученный этим свиданием, вмешался Князев и предложил достать книгу. И достал.

Были еще свидания. Мать передавала сыну новые книги по политической экономии от товарищей. Он интересовался всем, как будто собирался жить долго. Это внушало надежду. И пугало.

Обезумевший от волнения Песковский убедил Марию Александровну позволить ему повлиять на Сашу.

— Что же, вы не хотите, чтобы ваш сын был спасен? — твердил он.— Дайте мне пойти на свидание вместо вас!

Доведенная до отчаяния, она ухватилась за эту соломинку. И он «повлиял». Радостно сообщил ей об этом:

— Одиннадцать человек подали! Царь не может не смягчиться!

Она сама писала императрице. И не получила ответа.

Мать не знала, чем убедил Матвей ее сына. Однако написать того, что от него ждали, он все же не мог.

«...Я вполне верю, что характер и свойство совершенного мною деяния и мое отношение к нему не дают мне ни права, ни нравственного основания обращаться к Вашему величеству с просьбой о снисхождении в видах облегчения моей участи. Но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние дни, и исполнение надо мною смертного приговора подвергнет ее жизнь смертельной опасности. Во имя моей матери и малолетних братьев и сестер, которые, не имея

отца, находят в ней единственную опору, я решаюсь просить ваше величество о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием.

Это снисхождение возвратит силы и здоровье моей матери и вернет ее семье, для которой ее жизнь так драгоценна, а меня избавит от мучительного сознания, что я буду причиной смерти моей матери и несчастья всей моей семьи.

Александр Ульянов».

Он понимал, что написанное без изъявления верноподданнических чувств не является формальной просьбой о помиловании. Так оно и было встречено — это письмо равного равному — в департаменте полиции. Письма Александру III не показали.

О помиловании Александра хлопотал профессор государственного права А. Д. Градовский, прося отдать ему Александра Ильича на поруки, ручаясь сделать его серьезным ученым, отвлечь от революции.

Пытался помочь известный географ Семенов-Тян-Шанский. Иван Яковлевич Яковлев написал письмо казанскому профессору Ильминскому. Письмо отвез в Казань Володя. Ильминский — друг и наставник Яковлева, прекрасно знавший Ульяновых, сочувственно встретил Володю, тут же вступился за осужденного, но и это ни к чему не привело.

А людям так хотелось верить в лучшее! В народе все увереннее говорили, что казни не будет.

Мария Александровна пошла на свидание в Петропавловскую крепость, окрыленная

надеждой. Поговорить им не удалось. Между двумя решетками расхаживал жандарм, а заключенные и родные, пришедшие на свидание, кричали — каждый о своем. Слов было не разобрать. Матери так хотелось передать сыну то, что она узнала, во что верила.

— Мужайся! — крикнула она.— Мужайся! — Глаза ее блестели. На щеках появились пятна лихорадочного румянца.— Мужайся!

Сын улыбнулся ей. Песковский уверил его, что мать почти безумна, и Саша рад был убедиться в том, что все прошло. Песковский хлопотал и об освобождении Ани. Шестого мая Мария Александровна написала министру юстиции прошение о том же.

Восьмого она конкой поехала на свидание к дочери. Сидевший рядом студент прочел какой-то небольшой листок, афишку, и, скомкав, пробормотал: «Убийцы!» Такие листки мальчишки-газетчики совали в руки всем, сунули и ей. Она взглянула на свой:

«Приговор особого присутствия правительствующего сената о смертной казни через повешение над осужденными Генераловым, Андреюшкиным, Осипановым, Шевыревым и Ульяновым приведен в исполнение».

Как она вошла в тюрьму? Как нашла в себе силы сказать почтительно расступившимся надзирательницам: «Не говорите ей»? Как вымолвила:

— Береги себя, Аня, береги себя. Все ли у тебя есть? Скоро тебя отвоюем! А Саша?

— Молись за него,— и заторопилась уходить.

Она не знала, как пришла домой, как легла на кровать, не раздеваясь. Жить было невозможно. Все. Сил нет. Пусто в голове. Пусто в сердце. Только смертный озноб и желание, чтобы все поскорее кончилось. Умереть. Бескровное лицо Саши. Веревка на его мальчишеской шее. Движение палача. «Остановите!» — безмолвно кричало все в ней. Поздно. Ничего не чувствовать! Не жить, если такое на свете возможно... Она забыла обо всем, обо всех, о детях.

Сколько прошло времени, она не знала. Все остановилось. Перестало существовать. Конец. И вдруг перед мысленным взором возникло курносое, круглоглазое личико младшенькой, ни о чем не подозревающей Мани. От боли в сердце мать пришла в себя.

Как же я могу? Надо жить и защищать их.

Песковский хлопотал за Аню.

Марк дал телеграмму Дурново:

«...Умоляю ходатайствовать перед Его императорским величеством... не высылать мою невесту Анну Ильиничну Ульянову... дозволить ей поселиться при мне пожалейте ее

мать освободите ее для нас не разрывайте невидимо связанных сердец.

Действительный студент Елизаров
дер. Бестужевка
Самарского уезда».

Аню освободили. Хоть тут Матвей Леонтьевич Песковский сумел добиться своего.

— Саша умер как герой,— говорил он.

Аню выслали в Кокушкино на поруки Любови Александровны Ардашевой, во втором браке — Пономаревой.

Любочка Бланк и по характеру и по внешности больше остальных сестер походила на Машеньку. А вернее — Машенька на нее, ведь Люба была на два года старше. Стройная, сильная, хрупкая на вид, отважная, порывистая, она, пожалуй, меньше Маши владела собой и в детстве чаще попадала в разные передряги. Однако в основном умела быть сдержанной и даже скрытной. Потому, когда министерство юстиции учинило негласную проверку ее благонадежности, отовсюду были даны наилучшие отзывы. А в самом деле именно у Любови Александровны Ардашевой-Пономаревой на казанской квартире (Первая Гора, дом А. Ф. Ростовой) во втором этаже собирался нелегальный федосеевский кружок [1]. Никому это и в голову не приходило.

---

[1] Н. Е. Федосеев — организатор марксистских кружков в России. В. И. Ленин, входивший в один из них (с октября 1888 по май 1889 года), писал о нем: «...для Поволжья и для некоторых местностей Центральной России роль, сыгранная Федосеевым, была в то время замечательно высока, и тогдашняя пуб-

Казалось, всецело поглощенная Кокушкиным, которому она была фактической хозяйкой и почти безвыездно жила там, ничем иным интересоваться не может. За те годы, что она прожила в Перми, выйдя за чиновника казначейства Ардашева, Бланк, уже постоянно болевший, не мог справляться с ремонтами дома, с работами в саду. Нелегко приходилось и Любе. К 1870 году у нее было уже трое детей, а обходились восемью рублями в месяц. Только железное воспитание, да правило никогда не отчаиваться и спасало ее, и помогало быть по-прежнему веселой, остроумной, все той же любимицей сестер и племянников, неунывающей Любочкой.

В 1870-м умер муж, и Люба с оравой ребятишек возвращается к отцу. Но вскоре не стало и доктора Бланка. Все хозяйство сваливается на плечи Любови Александровны. Сестры с семьями бывают в Кокушкине только наездом. Люба работает дома, в саду, в поле. Учит, лечит окрестных крестьян, постоянно чувствуя благодарность к отцу, передавшему ей секреты лечебных трав.

Дети бегают босиком, учатся в соседней сельской школе в Черемышеве вместе с крестьянскими ребятишками.

Большой поддержкой стала дружба Александра Петровича Пономарева, которого доктор Бланк пригласил жить в Кокушкино,

лика в своем повороте к марксизму несомненно испытала на себе в очень и очень больших размерах влияние этого необыкновенно талантливого и необыкновенно преданного своему делу революционера». (Полн. собр. соч., т. 45, стр. 325).

когда тот вышел в отставку. Александр Петрович служил директором народных училищ Самарской губернии, был одно время цензором. Широкообразованный, гуманист, эрудит, он был хорошим другом Александру Дмитриевичу и нежно любил все его семейство. Он перевез в Кокушкино свою богатейшую библиотеку.

Внучка Любови Александровны — Т. П. Жакова-Басова много лет спустя писала: «По воспоминаниям и сохранившимся фотографиям можно обрисовать облик Любови Александровны. Тонкие черты лица, приветливый взгляд, крупные природные локоны. В глазах ее светился живой ум. Она всегда была весела, жизнерадостна, одинаково приветлива со всеми... и к людям своего круга и к крестьянам. Была пряма и неподкупна, могла высказать правду в глаза. Характер ее отличался большой твердостью... была добра и великодушна... Как рассказывает крестьянин села Черемышева Карпов, Любовь Александровна выдавала нуждающимся крестьянам из собственных запасов, безвозмездно, хлеб. Сердечно относилась к крестьянским детям, которые часто прибегали в Кокушкино собирать ягоды в саду или поиграть с детьми Ардашевых... Она сумела создать чрезвычайно дружную семью». В трудные годы ей самой приходилось брать хлеб в долг. В 1887—1888 годы в Черемышевском волостном суде «Л. А. Пономарева получает взаймы до 20 октября 1888 года от помещика дер. Змиевой Г. В. Дыдыкина 160 пудов муки и 40 мер зерна».

Таким был человек, которому Песковская написала об аресте Ани и Саши, и Любовь Александровна сразу же приехала в Казань. Она уже стала женой Пономарева — человека много старше ее годами. Пожалуй, не столько любовь, сколько стремление помочь этой отважной маленькой женщине, рыцарски сражающейся с жизнью, заставило его сделать ей предложение. Для Любы Ардашевой Пономарев давно был родным человеком, единомышленником отца, и она предложение приняла без колебаний.

На просьбы Марии Александровны о высылке Ани в Казань или Нижний, где она намеревалась жить с детьми, следовали отказы. На этот раз Песковский сумел удачно сообщить министерству юстиции о том, что Аню можно было бы выслать в Кокушкино и передать на поруки Любови Александровне.

Но сейчас еще надо было заканчивать дела в Симбирске, переезжать в Казань — поближе к Ане. Мария Александровна возвратилась домой.

Ранняя то туманная, то ветреная весна в Симбирске. Проклевывались почки на кустах сирени. Мария Александровна вошла в дом с черного крыльца, не звоня, не стучась. Дети сидели с няней за столом. Бросились к ней. Не было сказано ни слова. Только няня Варвара Григорьевна тихо охнула.

Мать долго не могла говорить о казненном сыне. Он стоял перед нею, как там, в Питере. Навсегда. Много дней спустя, когда пришла

Вера Васильевна, которая стала особенно близка семье в этом горе, Мария Александровна протянула ей конверт и быстро вышла. В конверте лежали тюремные фотографии Саши, посланные полицией в Кокушкино.

Во время урока географии, когда учитель отвернулся к карте, Оля передала Саше Щербо тот же конверт. Увидев карточки, подруга заплакала. Ольга, не шевелясь, глядела прямо на учителя. «Какое самообладание»,— подумала Саша, проникаясь еще большим уважением к лучшей своей подруге.

Ольга была такая, как всегда, только смеялась реже. Много занималась. Но во время панихиды в годовщину смерти начальницы гимназии она потеряла сознание. «Его казнили»,— шепнула она, придя в себя, Кате Нагаткиной (Арнольд), дававшей ей нюхать нашатырный спирт.

В начале июня в Симбирск приехал Чеботарев, с которым Саша жил в одной квартире. Незадолго до ареста они разъехались. Володя подолгу сидел с ним на откосе Старого Венца. Он расспрашивал гостя о жизни с братом, о суде. Слова его речи: «Интеллигенция слишком слаба» — он не мог забыть. Один на один бороться с царизмом невозможно! Семнадцатилетний мальчик, Володя подготовлен был к университетской работе, но ему еще многое нужно было понять для общественной деятельности, без которой он не представлял себе жизни. «Нельзя бороться в одиночку, нужны какие-то другие пути»,— думал он.

Володя и Оля окончили гимназию с золотой медалью. О столичном университете нечего было и думать брату казненного. Значит — Казань. Сначала поехали в Кокушкино к Ане, потом поселились в городе.

Гибель Саши теснее сплотила семью, заставила глубже задумываться над тем, как жить. Быть просто честным — мало. Нужно бороться. Как?

Год спустя Оля писала Саше Щербо:

«1888. 22 августа.

Дорогая Саша!!

Ты на меня сердишься?

Я этого вполне заслуживаю за бессовестно долгое молчание. Почему я не писала, я, право, затрудняюсь объяснить, так что-то не писалось.

В твоем последнем письме, которое я получила на последних днях пасхи, ты просила меня посоветовать, подавать ли тебе прошение на место учительницы, и говорила, что это единственная возможная для тебя сфера деятельности.

Вот тебе мое мнение: учительство, по-моему, одно из самых полезных и высоких занятий; и если можно советовать другим, то непременно советую тебе заняться им. Я думаю, что тебе нечего сомневаться в своих силах — была бы только охота!

Я провела все лето в деревне — не весело, но и не скучно; как мы устроимся на зиму — это уж бог весть! Как-нибудь во всяком случае устроимся, и, надеюсь, мое настрое-

ние несколько изменится тогда к лучшему — тогда уж и напишу тебе побольше, а теперь не взыщи уж, Саша, что пишу мало и скучно: «лучше мало, чем ничего».

Крепко тебя целую и желаю здоровья и всего хорошего. Не сердись же на меня и напиши хоть немного твоей О. У.

Пока шли по тому же адресу, какой был прежде: Веретенниковой с передачей мне».

Позже Маруся Веретенникова показала Марии Александровне письмо Александра:

«Дорогая Маруся!

Прости меня, пожалуйста, за долгое молчание. Я, конечно, очень виноват перед тобой. Но я не хотел писать тебе «несколько строчек», я решил заодно исполнить и данное тебе осенью обещание. Хотя и посылаю тебе теперь обещанную характеристику, но я далеко не доволен ею... Я нисколько не скрываю от себя того влияния, которое должно оказать это письмо на наши отношения, но может быть, оно несколько смягчится, если ты поверишь мне, что последний недостаток моей характеристики зависит только от резкости моего характера и от способности видеть прежде всего и яснее всего дурные стороны человека. Итак, прощай. Твой А. У.»

Вот что поразило Марию Александровну в характеристике девушки, которую любил ее сын: «...мне прежде всего придется указать на ее сильный ум и вообще очень большие способности, но подтвердить это чем-нибудь, каким-нибудь выдающимся фактом ее

жизни я решительно не могу. Даже больше: я не думаю, чтобы и в будущем она сделала что-нибудь серьезное, существенно полезное для общества или вообще чем-нибудь наглядно проявила свои способности. Но тем не менее я решительно утверждаю, что NN принадлежит к числу очень умных, очень способных людей... слабое развитие критической мысли, слишком большой индивидуализм, то есть отсутствие общественных симпатий и интересов, значительное подчинение общественным предрассудкам, надостаток энергии, а главное, инициативы. Все это, и притом в сильной степени, принадлежит и NN... Самовоспитательная критическая работа, начавшаяся в ранней молодости, скоро приостановилась, книга из воспитательного средства (сознательного или бессознательного) обратилась в источник удовольствия... но при всем том у нее много и очень хороших черт».

Тут был весь ее мальчик, непримиримый и требовательный, не желающий лгать, даже любя, не умеющий оскорбить снисходительностью. Читая письмо, Мария Александровна вспоминала его голос, его речь. И образ его вырастал, словно сын становился старше, чтобы не исчезнуть никогда, может быть, спорить с тем, кто вырос рядом и стал ее опорой.

И в Казанский университет поступить Володе оказалось не так-то просто. Писали прошения. Ожидали ответов. Ответов не было. Никто в семье не знал, как в эти «безмолвные» дни хлопотливо работала почта, перенося запросы университетского начальства в Симбирск и ответы начальства гимназического.

Университет дался нелегко. Но все-таки Володя — студент! С чувством заслуженной победы он вбегает в светлое с колоннами здание. Каблуки уверенно стучат по чугунным плитам. Наконец-то он в университете! Помимо науки здесь есть жизнь общественная!

Но первые же рассказы сына огорчили Марию Александровну: и тут, как в гимназиях, педеля [1] шпионят за студентами, либеральных профессоров удаляют с кафедр, запретили даже искони существовавшие землячества. Нет, не может быть благополучно в этом мире, пока торжествует несправедливость.

---

[1] Надзиратели.

По всем университетам России катилась волна студенческих беспорядков против установления полицейского режима. Дошла она и до Казани.

4 декабря 1887 года во время сходки студентов, требовавших отмены реакционного устава, Владимир вместе со всеми, не колеблясь, бросил свой с таким трудом полученный студенческий билет и вышел из университета. Он не мог поступить иначе.

Мать и сын в тот вечер, разговаривая обо всем случившемся, не заметили, как наступила ночь. Раздался грубый стук в дверь. Ввалились жандармы. Владимира арестовали.

Еще пахло в комнатах кожей от промокших сапог и махоркой, а Мария Александровна уже обдумывала, к кому обратиться, куда написать, ведь ее дело — помогать детям, вызволять их из беды.

На ее обращение попечитель Казанского учебного округа ответил, что ее сын — «один из главных участников, если не зачинщик беспорядка. За короткое его пребывание в университете он зарекомендовал себя скрытным, невнимательным и даже невежливым». О ее ли Володе это говорилось? «Четвертого декабря он бросился в актовый зал, в первой партии, вместе с Полянским первыми неслись, крича и размахивая руками, как бы воодушевляя остальных».

Тут она узнавала Володю.

Его выслали в Кокушкино. А там были Аня, сестра Люба с детьми. Это лучшее из всего, что могло с ним случиться.

Потянулась одинокая деревенская зима. Никаких соседей поблизости. В холодном доме печи всегда топились плохо. Нынче они дымили напропалую. В коридорах было сыро. Дуло из щелей. Войлочные борта старого бильярда вконец изъедены молью и осыпались, стоило их задеть. Сын Любы Митя отдал Володе свою комнату, сам перебрался в бильярдную. Володю и Аню поддерживало то, что в кабинете дяди Пономарева было много и весьма замечательных книг.

Все здесь напоминало детство, только как будто остановилось, замерло под сугробами. Затихла речка Ушня. Темнеет вдали унылый лес. Но вдруг забренчат бубенцы. Раскатится по залитой водовозом дороге к покосившемуся крыльцу барабус, привезший обшарпанный пестерь с книгами из библиотеки.

Теперь уже не серьезная девочка Маша и смешливая Соня Бланк торопятся распаковать его, отряхнуть от сена тугую крышку, а задумчивая невеста Аня Ульянова с длинными вьющимися волосами и коренастый подвижный юноша в студенческой тужурке. Другое время. Другое поколение. Другая юность. И счастливое, веселое когда-то гнездо Кокушкино — место ссылки.

Наведывался частенько становой пристав, осуществляя «гласный надзор». Иногда мать отпускала в Кокушкино Маняшу.

Аня много писала — больше стихи. Получала письма от Марка. Думала. Молчала. Или восторженно говорила о будущем. Лечила приходивших из деревень старых зна-

комцев. Вспомнила рояль, играла тихо и небрежно.

Владимир часто уходил в деревню, расспрашивал крестьян о жизни. Он резко, зло и очень смешно описал сходку в университете в письме к гимназическому товарищу, жившему на юге. Не пощадил университетского начальства. Прочел письмо сестре и, запечатав, положил в пестерь для обратной почты. Анна не смеялась.

— Ты подведешь товарища этим письмом,— сказала она.

Володя встряхнул головой:

— Гиль! — бросил он. Но походил по комнате, постоял у окна и вынул письмо из пестеря.

Мария Александровна жила в Казани с Митей и Маней недалеко от Арского поля, занималась с ними и добивалась для Володи разрешения переехать в город.

Весной в Кокушкино приехала Аня Веретенникова — любимая кузина Володи, врач. Не так-то легко осуществилась ее мечта. После года учительствования в селах она работала стенографисткой в редакции одной из казанских газет. Нет! Ничто не смогло помешать ее решению.

Брат и сестра встретили ее шумно, радостно, но сразу заметили, как она кашляет, как худое лицо ее с впалыми щеками заливается лихорадочным румянцем. Чахотка! Аня Веретенникова поступала так, как мечтала, сообразно своим убеждениям. Она посвятила себя бедным, лечила только в башкирских деревнях Уфимской губернии. За

два месяца изучила башкирский язык, знала татарский. Ее любили в народе. Она шла к больным в любую погоду, в любую даль. И сломилась. Но не сдалась. Некоторое время еще работала уездным врачом в Осе. Убеждала себя, что отдохнет в Кокушкине, одолеет свое нездоровье и вернется к работе, но все поняли, что Аня приехала умирать. О ее болезни не говорили, шутили, уводили в сад, к реке. 25 июля Аня Веретенникова умерла.

Мария Александровна добилась, чтобы с осени 1888 года Владимиру разрешили жить в Казани.

После отъезда племянников неугомонная Любовь Александровна открыла в Кокушкине школу для крестьянских детей. Но из-за отсутствия средств через год школу пришлось закрыть. Верным ее помощником всегда оставался сын Митя. Другие дети разъезжались выполнять свой долг. Федор стал врачом, Евдокия — фельдшерицей.

Помня, как в Симбирске после казни Александра «общество» отшатнулось от них, Ульяновы почти нигде не бывали. Изредка Володя уходил к пожилой народоволке Четверговой. Забегал к нему юркий маленький студент Чириков с увиливающими глазами. Чириков нещадно курил. С ним начал покуривать и Володя. Чириков очень не нравился Марии Александровне, казался неприятным, скользким, что-то было в нем ненадежное, неверное. Он был, бесспорно, талантлив, много писал. Пьесы. В кружках молодежи его считали будущей знаменитостью. (Он и

стал известным писателем. А потом перешел в лагерь контрреволюции.)

Марию Александровну очень беспокоило здоровье детей. Она упрекала себя за то, что не сумела закалить их, как доктор Бланк закалил своих. Аня худышка, у Володи слабые легкие. То, что он начал курить, возмутило ее. Вышел неприятный разговор. Напоминаний о своем здоровье Владимир не хотел и слышать. Тогда она сказала ему обидное — что вынуждена считать каждый грош. Не успела договорить, как Володя встал, сделал протестующий жест рукой, и ни разу после этого она не видела его с папиросой.

Нужно было продолжать образование, а в Казанский университет дорога закрыта.

Мария Александровна вспомнила о профессоре Ильминском. Иван Яковлевич Яковлев, женатый на его воспитаннице, называл Николая Ивановича «золотым сердцем». Несмотря на свои консервативные взгляды, Ильминский был защитником инородцев, как и Илья Николаевич. Он не побоялся вступиться за Сашу. И она пошла к профессору, жившему при учительской семинарии на озере Кабан. От этого посещения у Марии Александровны осталось доброе впечатление, но дело с разрешением сдавать экзамены Володе экстерном не двигалось. Готовясь переехать в Алакаевку, она писала Ильминскому: «По сердечной доброте Вашей и в память покойного Ильи Николаеви-

ча, который так искренне уважал Вас, Вы не откажете исполнить мою просьбу... 28 сентября 1889 г.»

Симбирский дом продали. Где-то следовало «осесть», когда Аня вернется из ссылки. Через Марка Тимофеевича мать начала хлопотать о покупке хутора, втайне надеясь, что сельское хозяйство займет детей. В мае переехали в Самару. Хутор и лошадь купили у разорившегося золотопромышленника Сибирякова.

Сельским хозяйством дети не занялись, но как дача Алакаевка оказалась замечательной. Степной воздух. Тишина. Старый запущенный сад уступами спускался к большому ручью. Сразу появились любимые уголки, почти как в Симбирске: Олин клен, Анина березовая аллея и, самое главное, «зеленый кабинет» Володи в самом отдаленном углу, где он устроил трапецию. В десяти минутах ходу от дома — пруд с купальней, как в Кокушкине. Невдалеке — Муравельный лес, подальше — Гремячий.

В скромном, маленьком доме без веранды на крытом крылечке поставили обеденный стол. Вечерами у зажженной лампы занимались. В комнатах света не зажигали, чтобы не налетела мошкара. На столе появлялись балакирь [1] молока и серый пшеничный хлеб — ужин семьи.

Идиллия? Не могло быть идиллии в семье, преследуемой самодержавием. Но семья была спаяна, и это давало ей радость.

---

[1] Кувшин, крынка, глечик.

По настоянию матери Митю перевели в Самарскую гимназию. Он был тихий мальчик, немного вялый, мечтательный, исполнительный, аккуратный. Красивый. Очень походил на деда Бланка.

Скромно отпраздновали свадьбу Ани и Марка. У них образовался кружок осевших под Самарой «неблагонадежных», среди которых Володя сразу нашел друзей.

Шумный, любивший споры, сын поражал даже Марию Александровну своею педантичностью — с утра до вечера он занимался в «зеленом кабинете», заодно читал и переводил с Маняшей с французского. И тут он все делал по-своему: никогда не заставлял девочку выписывать слова, но постоянно к ним возвращался. Вечерами часто дети пели на крылечке под аккомпанемент Оли. Отличался Марк. Под конец, когда пора уже было идти спать, Володя затягивал: «У тебя есть прелестные глазки. От них я совсем погибаю». И, закашлявшись на высокой ноте, хохотал: «Погиб! Погиб!»

Доживавшая свой век на покое няня Варвара Григорьевна ворчала: «И чего кричат?»

Зимой переехали в Самару и поселились в квартале, облюбованном неблагонадежными. Так уж получалось.

Весной, в апреле, умерла Варвара Григорьевна, и даже младшие стали как будто взрослее от этой утраты.

Оля поступила на физико-математическое отделение петербургских Бестужевских курсов. В Гельсингфорсском медицинском, оказывается, нужен был кроме изученного ею

шведского языка еще и финский. Откладывать не хотелось.

Маня и Митя учились в гимназии. Большим праздником бывало для них пойти со старшими в театр. А сколько радости доставил Марк, подарив Маняше клетку с живым чижом!

Володя много писал. Его рефераты о книге Постникова «Южно-русское крестьянское хозяйство», о сочинениях Южакова, Михайловского — полемичные, острые — вызывали бурные споры в самарских кружках. Но его тянуло в Петербург, к рабочим марксистским кружкам, работать, учиться.

Мать знала, что сын надеется сдать экстерном за юридический факультет. Знала, как это трудно и с его незаурядными способностями, которые когда-то даже тревожили ее с Ильей Николаевичем.

Еще раз пишет она просьбу о сдаче экзаменов экстерном. Появилась надежда. Но, видно, нельзя успокаиваться ни на минуту и горе подстерегает там, где его меньше всего ждешь.

Владимиру не без помощи Ильминского, сумевшего использовать уважительное отношение к себе всесильного Победоносцева и министра просвещения Делянова, разрешили сдавать экзамены в Петербургском университете. Оля писала:

«1891 г. 8 апреля.

Милая, дорогая мамочка!

Сейчас получила твое письмо и была ему очень рада, так как давно поджидала от тебя весточки. Хотела было писать тебе

вчера, но решила подождать твоего письма, чтобы кстати ответить на вопросы о Володе, которые я предвидела.

Мне кажется, дорогая мамочка, что ты напрасно беспокоишься, что он надорвет здоровье. Во-первых, Володя олицетворенное благоразумие, а, во-вторых, экзамены оказываются очень легкими. Он уже сдал 2 предмета и из обоих получил по 5. В субботу (экзамен у него был в пятницу) он отдыхал: утром ходил на Невский, а после обеда пришел ко мне, и мы ходили с ним гулять по набережной Невы — смотрели на ледоход, затем он отправился к П-ским.

Ночей не спать он не будет, так как это совершенно лишнее: все равно голова не может работать в течение 24 часов, так что отдых необходим. Обедать он ходит каждый день,— следовательно, прогуливается...

Так как ты посылаешь мне 30 рублей на дорогу, дорогая мамочка, то, вероятно, считаешь, что я поеду по железной дороге. А я подумывала, не ехать ли на Рыбинск, так как, кажется, при этом выходит порядочная экономия денег. Думаю, что не надо везти шубу и другие зимние вещи с собой: их можно оставить здесь, в интернате...

Здесь погода стоит прекрасная, а пыли и грязи не полагается. Три дня тому назад сожительница моя уехала, так что я теперь опять одна.

У нас все по-прежнему. Сделали некоторое изменение в обеде по случаю экзаменов: вместо сладкого за обедом дают ужин. Это, конечно, лучше.

Хотя я ношу черное платье, но неряшливо никогда не хожу, потому что всегда чищу его щеткой и делаю некоторые улучшения.

Крепко тебя целую, дорогая моя мамочка! Ровно через месяц выезжаю домой.

Желаю тебе здоровья и всего хорошего! Кланяйся всем нашим и поцелуй от меня сестер.

Твоя Оля».

(Послано из Петербурга в Самару.)

Володя сдал экзамены блестяще. Это была решительная победа. Но наград судьба не дает. Вместо радостной пришла от Володи страшная телеграмма о тяжелой болезни Ольги. Мать поняла: если Володя дал такую, значит, дело плохо.

Мария Александровна научилась за свою тревожную жизнь собираться мгновенно. Собралась и сейчас. В Петербурге Владимир говорил ей:

— Я ухаживал за Олей. Не понадеялся на себя — поместил в больницу, но все осложнилось рожистым воспалением. Ведь у нее брюшной тиф.

Оли не стало.

Был ветреный день, сырой и промозглый, с едва заметным дождем-изморосью. Бестужевки, подруги Оли, шли за гробом. Володя и одна из сестер Невзоровых поддерживали Марию Александровну. Позже Невзорова-Кржижановская рассказывала об этом:

«...Идти было трудно, ноги скользили... Она шла молча, прямая, тонкая, хрупкая, с слегка закинутой назад головой, и лишь из-

редка из ее полуопущенных глаз скатывались скупые слезинки.

У меня сердце разрывалось от жалости. Невыносимо было хоронить Олю, чудесную девятнадцатилетнюю девушку, умницу, только что развертывавшую свои блестящие способности, милого товарища, так нелепо погибшего. Невыносимо было видеть ее мать, молчаливо идущую за гробом. Я знала, что один за другим падали удары на ее прекрасную седую голову: смерть мужа, страшная гибель старшего сына Александра и теперь неожиданная смерть дочери... и все это на коротких отрезках времени! Слишком много для одного человека. Она шла тихая, молчаливая, натянутая, как струна, крепко сжав губы. И мы все молчали. Я чувствовала, какой страшной скорбью полно ее сердце, как грубы и неуместны были бы всякие слова утешения».

Ради матери Владимир вернулся в Самару и стал работать помощником присяжного поверенного Хардина, своего давнего шахматного партнера, с которым когда-то его познакомил Марк и с которым он играл заочно по переписке, еще живя в Казани. Ему хотелось сделать все, чтобы отвести от матери лишние заботы, он занимался с младшими. Они удивляли его. Задали в гимназии начертить географическую карту — Маняша нарисовала ее, пренебрегая точностью. Старший брат грустно взглянул на работу.

— Не кое-как, лишь бы с плеч долой, нужно делать, а действительно хорошо, пока

тебе самой не понравится... Перечерти. Ты не поняла, что нужно точно начертить?

Показал, как применять масштаб, последил за работой Маняши. И карта вышла вполне прилично. Уроки старшего брата не прошли даром. Стремление все делать не «просто так», а действительно хорошо стало органической чертой характера Марии.

Мать видела их занятия, и сердце ее оттаивало.

Уносила смерть ее птенцов. За что? Молиться она уже не могла. Вопрошать бога о справедливости? Если он есть — он ни разу не пощадил ее и ее детей. Справедливость нужно искать на земле. Должны быть школы для всех, хорошие врачи для всех, такие, как Аня Веретенникова, как Федя Ардашев — сын Любы, работавший в Усолье... Бич того времени — туберкулез не пощадил и его.

Часто она сидела в столовой, не зажигая лампы. Почти каждый вечер к Володе собирались друзья. Невольно улыбнулась она, заметив, как торопливо проскальзывают в его комнату Беляков и Скляренко — большой приятель Ани, за ним — Яснева-Голубева. Мать понимала, что их отпугивают белоснежная скатерть, аккуратно накрытый стол с чайными, вышитыми ею салфетками.

Сын думал: «Ну что ей стоило накрыть стол клеенкой, убрать салфетки? Нет. Чистота — ее гордость и богатство». Понимал он — мать не умела и не хотела приспосабливаться, фальшивить. И когда они — не-

ловкие, взъерошенные — собирались все-таки за столом, она вглядывалась в каждого, видела, что Скляренко держит себя свободно («незаконный» сын интеллигентного человека, он привык к белым скатертям), видела, как смущается и оттого неловок Беляков, как подчеркнуто небрежно заливает чаем скатерть Голубева, капает вареньем и крошит бублики. А зря! Это пустяки, дорогая... Разве в этом дело? Ей хотелось сказать им: да не волнуйтесь вы, чудаки, все это мелочи, отдохните просто, говорите свободно... Володя чувствовал (они понимали друг друга без слов) все, что она думает, и, чтобы она была уверена в его согласии с нею, желая доставить ей хоть маленькую радость (у обоих не исчезала из мыслей Сашина гибель, смерть Оли, смерть Ани Ветренниковой), он взял ее маленькую, столько работавшую руку, подержал в своих твердых ладонях, точно птенца, и поцеловал. И никому из молодежи, презиравшей «салонные фокусы», это не показалось диким.

За чайным столом не утихали споры. Внимательно слушали рассказы Марка о деревне. Говорили, что Володя сделал отличный перевод «Коммунистического манифеста». Мать прочитала его. Но он вскоре пропал. И как она не переписала! Теперь нужно будет предложить Володе делать копии его рукописей. Завезли его перевод в Сызрань, а там мать одного из неблагонадежных учителей со страху сожгла, побоялась обыска. Разные бывают матери и дети.

Не любила Мария Александровна сына писательницы Водовозовой. Начитанный, образованный (ходячая энциклопедия — сказал о нем Володя). Ненавидевшая всякое собственничество, Мария Александровна не переносила в нем жадности к книгам. Он дрожал над новенькими томиками своей библиотеки. Когда арестовали Александра, он, не сдержавшись, воскликнул: «Ах, как жаль, он взял у меня такую ценную книгу, она, пожалуй, теперь пропадет!»

Когда началась эпидемия холеры, Владимир возмущался ханжеской благотворительностью местного купечества и либералов. Сначала мать удивило это. Как же не помогать? Тем более если люди богаты?

— Нужно менять порядок вещей,— отвечал он,— а не выступать заодно с виновниками «всероссийского разорения» — губернаторами и полицией!

Вот и дети стали ей объяснять жизнь, как когда-то объясняла им она.

Иногда ей казалось, что дети излишне упрямы. Ее удивила горячность Владимира в истории с купцом Арефьевым. На переправе лодочники отказались перевезти Владимира и Марка. Монополия явочным порядком была закреплена за Арефьевым. Сумели уговорить одного лодочника, и все-таки Арефьев нагнал их. Несмотря на сопротивление, принудили пересесть на буксир. Владимир Ильич переписал имена принимавших участие в этой беспримерной «операции» и подал в суд. Никто не верил в успех дела. Все привыкли к самодурству купца.

Боялись его. Но суд был назначен. Его отложили, а когда суд состоялся, когда мать увидела, какое впечатление произвело на народ заключение богатея в тюрьму, она разглядела за упорством сына высокую принципиальность.

Без особой радости она услышала, что в деревнях его прозвали Башка. После встреч с народниками он выглядел вырвавшимся с поля боя. Она знала, как он умеет спорить, как бывает дерзок. Видимо, время требовало кроме его глубокой научной подготовки, задора крушения иных авторитетов.

Мария Александровна рассмеялась, когда Володя объявил, что отправляется на журфикс. Рассмешило само слово: «журфикс». Володя не терпел подобных сборищ. Но там, у зубного врача Анны Абрамовны Кацнельсон, должен был выступить с докладом какой-то знаменитый народник. И выступил. И конечно, Володя ринулся в бой, как потом рассказывали Скляренко и Лебедева. Разнес всех. И вернулся веселый, в отличном настроении.

Он оставался здесь ради нее, а сделал столько важного для дела. Она верила, что он найдет способ убедить всех передовых людей. Но как ему будет трудно жить... И как ему тесно здесь. Он охладел даже к шахматам.

Желая развлечь ее, он показывал фотографии с помощью волшебного фонаря, приносил ей новые книги. Но мать видела, что четвертая зима в Самаре для Владимира мучительна.

Однажды поздно вечером, когда все разошлись по своим комнатам, она услышала, как за стеной ходит и ходит Владимир. Потом хлопнула парадная дверь. Он долго бродил где-то. Вернулся. Мать не спала. Встав, как всегда, раньше всех, она в столовой на посудном столе увидела книжку журнала, раскрытую на рассказе Чехова «Палата № 6».

Конечно, ему нужно было ехать в Питер или в Москву!

За чаем он протянул Ане журнал:

— Мне стало прямо-таки жутко, я не смог оставаться в своей комнате. У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палату номер шесть.

У каждого из детей была своя мечта: Аня хотела стать писательницей, Маня — учительницей, Митя — врачом. Мать угадывала в стремлении Владимира в Питер не только тягу к широкому полю деятельности и большой практике — туда, где много заводов и фабрик,— но и боязнь за семью, за то, что его работа может стать для них опасной. Как будто мать оставит его в беде!

5 октября 1893-го Владимир Ильич писал уже из Питера в Москву:

«Вчера получил, дорогая мамочка, письмо твое от 2/X. Комнату я себе нашел наконец-таки хорошую, как кажется: других жильцов нет, семья небольшая у хозяйки, и дверь из моей комнаты в их залу заклеена, так что слышно глухо. Комната чистая и светлая. Ход хороший. Так как при этом очень недалеко от центра (например, всего

15 минут ходьбы до библиотеки), то я совершенно доволен...

На Волковом кладбище был вскоре после приезда: там все в сохранности — и крест и венок.

Любящий тебя *В. Ульянов.*

...Мне обещают здесь место в одном юрисконсульстве, но когда именно это дело устроится (и устроится ли), не знаю.

Напиши, в каком положении твои финансы...»

Знала мать, как живет сын, но только догадываться могла, чем он живет.

Устроившись в Москве, мать с Аней поехали, конечно, в Питер. Владимир Ильич во всем походил на отца: так же безразлично ему было, в каком состоянии его одежда, что пальто износилось. Кто подумает об этом, кроме матери? Пальто купили.

В Москве поселились недалеко от Кремля. Однажды Мария Александровна зашла в Иверскую часовню. Любила старину, историю. Но все настроение было испорчено. Вернулась и рассказала Мите о монахах:

— Какие они жадные, толстые, наглые, как нахально выпрашивают деньги. Один их вид может побудить людей перестать верить.

Через год, зимой, большой друг детей Ульяновых — тетя Люба тяжело заболела. Ехала она в санях по корявому проселку. На повороте сани занесло, столкнулись с встречными. Любовь Александровна полу-

чила тяжелые ушибы. Поправиться уже не смогла. Ее отвезли в Казанскую земскую больницу, но все усилия врачей поставить ее на ноги оказались тщетными. В сочельник 1895 года неугомонный, благородный человек — сестра Марии Александровны умерла. Ее похоронили на Черемышском кладбище. Это была едва ли не единственная сверстница, с которой Мария Александровна могла быть вполне откровенна.

Семья стремилась съехаться хотя бы один раз в год на даче. Так было и летом 1894-го. Владимир Ильич приехал в Кузьминки, около станции Люблино под Москвой. Много гулял с младшими. Много писал. Подготавливал для опубликования тетради «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов». Товарищи взялись напечатать их на мимеографе.

Аня, все серьезнее входившая в дела брата, не успела прочесть всех тетрадок до его отъезда и очень досадовала, что не прочитала ту, что направлена против выступлений одного из идеологов либерального народничества Михайловского.

— Мама, подумай, вышло несколько возражений Михайловскому. А которое Володино? Мне рассказывали, что есть одно более основательное, только выражения очень уж недопустимые...

— Ну, наверное, Володюшкино...

— И я так подумала. Спрашиваю: «Какие же выражения?» — «Ну, например:

«Михайловский сел в лужу»».— «Вот это, пожалуйста, мне и достаньте!» Конечно, Володино!

— А ведь, наверное, так его лучше понимают рабочие? Очень просто пишет, выразительно...

Не берегся сын. Простудился. Случилось воспаление легких. Мать снова поехала в Питер. Выходила его. Он был очень молод. Но так самостоятелен. Занят своей работой настолько, что положительно все подчинил ей. Еще не оправившись от болезни, он говорил со своими товарищами о поездке за границу. Мария Александровна обрадовалась: «Ты должен там хорошо отдохнуть, полечиться». Он ласково провел рукой по ее руке: «Да, это отличный повод. А там познакомлюсь с Плехановым». И все стало ясно. Никакого лечения не будет.

Уехал. Присылал шутливые подробные письма:

«По «заграницe» путешествую уже вторые сутки и упражняюсь в языке: я оказался совсем швах, понимаю немцев с величайшим трудом, лучше сказать, *не понимаю вовсе*... Пристаешь к кондуктору с каким-нибудь вопросом,— он отвечает; я не понимаю. Он повторяет громче. Я все-таки не понимаю, и тот сердится и уходит...»

Она как бы путешествовала с ним сама, так он умел писать.

«...Природа здесь роскошная. Я любуюсь ею все время».

«...Плохую только очень по части языка: разговорную немецкую речь понимаю несравненно хуже французской... Третьего дня был в театре; давали «Weber» [1] Гауптмана. Несмотря на то, что я перед представлением перечитал всю драму, чтобы следить за игрой,— я не мог уловить всех фраз».

«...По вечерам обыкновенно шляюсь по разным местам, изучая берлинские нравы и прислушиваясь к немецкой речи...

Насчет того, чтобы надолго остаться здесь,— я не думаю: «в гостях хорошо, а дома лучше». Но пока еще поживу тут...

Марк пишет, что дела ваши с квартирой просто в трагическом положении: квартир нет. Москва в этом отношении хуже еще, значит, Петербурга. Неприятная ужасно эта возня с квартирой. Желаю вам поскорее развязаться с ней».

«...Может быть, Мите нужны какие-нибудь книги — пусть напишет [напр., может быть, атлас какой-нибудь анатомический или какая-нибудь другая медицинская штука] и Маняша тоже. Если она не имеет ничего в виду,— может быть, ты или Анюта посоветуете мне, что привезти ей».

Вернулся сын с большим чемоданом. Чемодан дома быстро распотрошили. В двойном дне находилась уйма нелегальной литературы. Но то, что ее не обнаружили таможенники, еще не говорило об удаче. Это

---

[1] «Ткачи» (нем.).

могло быть уловкой, чтобы проследить связи.

За Владимиром неотступно следили. Он замечал это. И, хохоча, рассказывал дома:

— Никак не мог отвязаться от одного шпика. Кажется, ускользнул от него — нет, вижу, он в подворотне. Быстро вбежал в подъезд и через стекло двери смотрю — куда он ринется. Я уселся в кресло швейцара. Мне все видно, а ему меня — нет. А какой-то человек спускается с лестницы и с удивлением смотрит на «швейцара», покатывающегося со смеху.

Все-таки сын был арестован.

В Москву приехала и позвонила у двери квартиры Елизаровых худенькая девушка с тяжелой светлой косой. Что-то в ее лице, в тонких руках показалось не то знакомым, не то родственным. Может быть, складка чуть припухших губ. Что-то было в ее глазах, когда она заговорила о Владимире, отличавшее ее от остальных его друзей-женщин. Мать взглянула на молоденькую учительницу попристальней.

— Владимир Ильич передал мне шифрованное письмо. Он сказал на допросе, когда его спросили, где чемодан, привезенный из-за границы, что оставил его дома. Пусть купят похожий, скажут, что мой.

Гостья — Надежда Константиновна Крупская — и Анна отправились в магазин искать похожий чемодан. Нашли. Швыряли его по комнате, заталкивали под кровать, садились на него, чтобы он приобрел «бывалый» вид. Хохотали. Надя преподавала в

воскресной школе за Невской заставой, а Владимир там руководил кружками. Они познакомились в феврале 1894 года.

Аня поехала разузнать о деле брата в Питер, захватив с собой злополучный чемодан и набив его всякой чепухой.

Мария Александровна, провожая ее, сказала:

— А эта девушка очень подходит Володе, правда?

Аня кивнула в ответ.

Потом они узнали, что Надя Крупская из «очень хорошей семьи». У них это выражение имело особое значение. Отец Надежды Константиновны — офицер — при усмирении польского восстания отказался стрелять в повстанцев.

Вскоре в Москву приехал Сильвин — член кружка Владимира Ильича, также получивший от него письмо. Письмо он привез и показал Ане и Марии Александровне. Это был список книг, которые Владимир Ильич просил достать.

«В. В. Судьбы капитализма в России.

Костомаров — Герои смутного времени.

Брем — О малых грызунах?

Magne Rid — the Mynoga».

Привыкшие к конспирации, знавшие остроумие Владимира Ильича, товарищи отлично расшифровали все. Он спрашивал о судьбах членов группы. Василий Васильевич Старков имел прозвище Ве-Ве. Героями смутного времени были Ванеев и Сильвин, прозванные Мининым и Пожарским. Сусли-

ком (грызуном) звали Кржижановского, а Миногой — Надежду Константиновну.

Несмотря на огорчительность положения, читая это письмо, все смеялись. Сильвин добавил еще, что по поводу героев смутного времени ответил: «В библиотеке имеется лишь 1 том сочинений», то есть арестован только Ванеев, а не Сильвин.

Надежды на быстрое освобождение Владимира не было.

— Нам надо ехать обеим в Питер,— решила Мария Александровна, и вместе с дочерью они отправились в столицу.

Сын взялся за серьезную работу о русских рынках, и Анна доставала ему нужные книги. Мать заботилась о его здоровье. Книги принимали два раза в неделю, еду — три раза. Мария Александровна приносила диетические продукты: кипяченое молоко, белый хлеб. Все это требовалось не только для еды. Молоком между строк книги по анатомии была написана работа «Проект и объяснение программы социал-демократической партии».

В Питере шли крупные стачки текстильщиков. Движение перекинулось на московские фабрики. В городах было неспокойно — тревожно прошла коронация Николая II. Страшная кровавая Ходынка превратила ненужное народу торжество в похороны.

— А ведь и Наденька Крупская арестована,— сказала матери возвратившаяся со свидания с братом Анна.

Мать близко к сердцу принимала судьбу этой девушки. Что можно было сделать? Дежуря с передачами возле тюрьмы, она познакомилась с матерью Нади Елизаветой Васильевной. Все ждали приговора. Вся семья была втянута в работу. По сравнению с народовольцами социал-демократов наказывали легче. Но долгого заключения многие не могли вынести. Часто не выдерживало здоровье, и без того ослабленное нервным напряжением, недоеданием. Прошло около года. Запорожец заболел тяжелым душевным расстройством. Ванеев получил туберкулез, остальные нервничали, худели, кашляли.

Прошение матери об освобождении Владимира из тюрьмы на поруки ввиду болезни легких оставили без последствий.

Когда в феврале 1897 года был оглашен приговор — три года ссылки в Восточную Сибирь,— дома вздохнули с облегчением.

— Я поеду с ним,— твердо заявила Мария Александровна и принялась собираться.

Родные осужденных подали прошения о том, чтобы ссыльные три дня до отправки провели дома.

Владимир снова в Москве! И поедет за свой счет, а не пойдет этапом. Старые ссыльные рассказывали матери об ужасах этапа: «Ссылку могли бы повторить, этап — никогда». Знакомая издательница Калмыкова предложила Марии Александровне деньги для Владимира, но Мария Александровна отказалась их принять.

Сразу поехать с сыном мать не могла. Расстаться было выше ее сил: она послала телеграмму директору департамента полиции: «Покорнейше прошу разрешить сыну Владимиру Ульянову остаться при мне еще неделю по случаю моей болезни. Ульянова».

«Покорнейше прошу!» Но не было покорности в этой хрупкой женщине, не было смирения.

Ожившая, помолодевшая, смотрела мать на Владимира, чаще улыбалась, усмехалась, оставаясь одна, чему-то своему. Ни о чем не спрашивала. Он был очень бледен, худ. У него болел желудок. В первый же день, вернувшись от товарищей, Володя объявил:

— Еду со всеми. Заарестуюсь, и кончено. Теперь этап легче. К чему льготы?

Неподвижная улыбка застыла на лице матери. Ничего не ответила сыну. Случайность помогла ей. Три льготных дня кончались. «Декабристы» из Питера еще не прибыли в Москву. Охранка вызвала Владимира Ильича и объявила: либо получение проходного свидетельства на завтра, либо немедленный арест без свидания с родными. Владимир Ильич выбрал первое. Не мог не проститься с матерью. И тут мать ничего не сказала, но дети увидели, как сияют ее глаза. Она была полна решимости вскоре выехать к сыну в Сибирь. И этого разрешения добилась Мария Александровна. А пока вместе с Марком, Аней и Маняшей поехали проводить Владимира до Тулы.

Вернувшись, Мария Александровна слег-

ла. Напряжение последнего года свалило ее, а когда стала поправляться, узнала, что получившая ссылку в Уфу Надя Крупская настаивает, чтобы ее выслали в Сибирь.

— Значит, я там не нужна,— без горечи сказала Мария Александровна.— Передам его с рук на руки Крупским. И буду совершенно спокойна.

Шли годы. Нет, не шли они, не тянулись и не были томительным ожиданием, как принято писать в романах. Менялось время. А семья Ульяновых настолько органически принадлежала своему времени, а не его «вчера», что жила этим временем и «злобой его» [1].

Мария Александровна писала дочери в Брюссель:

«4 ноября 1898 г.

Сейчас получила я, дорогая Маня, письмо твое, в котором ты просишь ответить тебе телеграммой. Но ответ мой может быть только гадательный.

...Из твоего письма видно, что ты страшно волнуешься, колеблешься... а в таком состоянии трудно решать. И почему ты просишь телеграфировать? Неужели так важно явиться в Льежский университет 3—4 днями раньше или позже, раз уже ты так много пропустила? И не будет ли тебе там, владея плохо французским языком, очень трудно дого-

[1] Старинное изречение: «Довлеет дневи злоба его», т. е. каждому дню принадлежат его заботы. Отсюда выражение «злободневный».

нять пройденное? — Пишу тебе все это не потому, чтобы я непременно желала, чтобы ты осталась в Брюсселе — ты знаешь, что я стояла за Женеву — отчасти вследствие хорошего отзыва о естественном отделении, со слов Шухта, который занимался там сам, и не потому также, что ты внесла уже деньги, но я боюсь слишком быстрого и необдуманного решения — новой неудачи,— худшей, пожалуй!.. Не лучше ли остаться лишний год — т. е. этот, который употребишь с пользой на изучение французского языка, пользуясь в то же время и некоторыми лекциями, практическими занятиями по химии. А может быть, можно будет перейти и после первого семестра? Там тебе яснее видеть все это, особенно не торопясь, осматриваясь и обдумывая. Кажется, в Брюсселе есть и другой старый университет. Что ты слышала о нем? Каковы там профессора? К тому же ты, кажется, колеблешься даже, пойдут ли у тебя занятия по естественным наукам... а в таком случае — если я так поняла из письма твоего — лучше обождать, пока ясно не выяснится решение твое.

Я только одного желаю, чтобы ты чувствовала себя хорошо и была бы довольна делом своим,— тогда оно и пойдет успешно...»

В Симбирске дивились и сплетничали обыватели о том, что у штатского генерала Ильи Николаевича даже спальни «человеческой» нет. Видно, скупеньки хозяева — спят на диванах да на солдатских койках,

не покупают широченных «подносных» купеческих расписных кроватей или модных, с «шишечками», английских.

Теперь, когда переехали в Самару, сплетники усмехались, что помощник делопроизводителя Управления государственных имуществ Елизаров живет рядом с «выселенцами», на грани сосуществования с бесштанными социалистами. Не всякому было известно «поднадзорное» его бытие. Зато не было лучше репетиторов и учительниц музыки, чем Ульяновы.

Комнаты? Комнаты во всех городах у них были похожи. Главная драгоценность — чистота, книги, рояль, а так ничем не отличаются от студенческих — пустовато, разве что мягкое кресло появилось. Нужно же отдохнуть пожилому человеку. Кто знал, что и кресло иной раз служило складом нелегальщины.

И в Москве — то же.

Никогда в этих комнатах так не ждали писем, как сейчас! Спокойные, всегда оживленные, приветливые, готовые пошутить, дать забавное прозвище, устроить елку, чаепитие с теплыми бубликами и вареньем, а то и самодельный маскарад, Ульяновы, как бы их ни разбросала судьба, неразрывно связаны между собой. Очень расширилась семья их по всей России.

Не кончился еще и год Володиной ссылки, как арестовали Митю. Он участвовал в делах московского «Рабочего союза».

Мать уже давно не думала о том, что кто-нибудь из ее детей «убережется», останется

в стороне, но не предполагала, что тихий Митя так скоро и энергично пойдет по дороге старших. Да. Все получалось правильно. Неизбежно. Но от этого сознания не становилось легче. Скорее бы кончилось. Перевернулось бы все, и наступила справедливая жизнь для всего народа. И с новым усердием она передавала книги, зашивала в холст суровыми нитками толстой иглой посылки. Смачивала их и химическим карандашом выводила адрес. Читала газеты. Научилась видеть между строк. Времени на тоску, на раздумья не оставалось.

Хорошо, что уговорила Володю взять старую отцовскую шубу с большим енотовым воротником. Она еще отличная, только воротник немного трачен молью...

Покупала иллюстрированные журналы, не только читать, а потому, что картинки пригодятся в Сибири ребятишкам Володиных и Надиных друзей.

2 марта 1897 г. Станция «Обь». (В Москву.)

«Пишу тебе, дорогая мамочка, еще раз с дороги. Остановка здесь большая, делать нечего, и я решил приняться паки и паки за дорожное письмо — третье по счету. Ехать все еще остается двое суток. Я переехал сейчас на лошадях через Обь и взял уже билеты до Красноярска... И движение поездов здесь уже совсем непозволительное. Эти 700 верст мы протащимся двое суток. Дальше, за Красноярском, движение есть только

до Канска, т. е. на 220 верст, а всего до Иркутска около 1000. Значит, придется ехать на лошадях,— *если придется.* На эти 220 верст железной дороги уходит тоже сутки: чем дальше, тем тише ползут поезда».

Она слышала его голос. Письма удивительно передавали его интонацию, манеру говорить. Ее трогали мелочи, подробности, рассказ о расходах. Это было свое, их, общее, домашнее, как думала она, забывая о том, что аналитический ум сына всему дает далеко не только личную оценку.

«Несмотря на дьявольскую медленность передвижения, я утомлен дорогой несравненно меньше, чем ожидал. Можно сказать даже, что вовсе почти не утомлен. Это мне самому странно, ибо прежде, бывало, какие-нибудь 3 суток от Самары до С.-Петербурга и то измают: Дело, вероятно, в том, что я здесь все ночи без исключения прекрасно сплю... Воздух степной чрезвычайно хорош: дышится легко. Мороз крепкий: больше 20°, но переносится он несравненно легче, чем в России. Я бы не сказал, что здесь 20° Сибиряки уверяют, что это благодаря «мягкости» воздуха, которая делает мороз гораздо легче переносимым. Весьма правдоподобно».

15/III 97. (Из Красноярска в Москву.)

«В библиотеку хожу ежедневно, и так как она находится в 2-х верстах от окраины города, то мне приходится проходить верст 5 — около часа пути. Прогулкой такой я

очень доволен и гуляю с наслаждением, хотя частенько прогулка меня совсем усыпляет. В библиотеке оказалось гораздо меньше книг по моему предмету, чем можно было думать, судя по общей ее величине, но все-таки есть кое-что для меня полезное, и я очень рад, что могу провести здесь время не совсем зря...

Здесь, как слышно, сняты уже этапы,— значит, партия приедет по железной дороге. А если так, то непонятно, почему ее задерживают в Москве. Удается ли передавать книги? съестное? письма? Если все эти вопросы не совсем запоздают, то я был бы очень рад получить от Анюты ответ на них».

Дети выросли на Волге. Они не знают уральских морозов. Читая письма сына, мать вспоминает Пермь, Златоуст, эти «мягкие» морозы — сухие, трескучие и в то же время действительно легкие. Некоторых товарищей детей она знает, о других слышала, третьи остаются неизвестными, но она вместе с посылками сыну готовит им передачи, белье, упаковывает принесенные Аней книги, покупает «долготерпеливую» еду — то, что не портится в дороге, то, что посытнее, и еще — побаловать.

Доктор Гааз — чудак в длинных чулках — был один. Он растратил свое состояние, помогая ссыльным. Сейчас безымянные Гаазы всюду — в семьях ссыльных, заключенных, в тюрьмах, среди знакомых и незнакомых. У них нет состояния, но они объединяются,

порой не зная друг друга, и помогают детям, братьям, отцам.

Мария Александровна иногда успевает прочесть или перелистать отправляемые книги. Она видит, как Анна сидит над переводами для редакций, над корректурой Володиных работ, и помогает ей. Это такая радость! Пишет Маняше: «26 дек. После твоего отъезда засели мы с Аней за переводы английских рассказов, так как Горбунов торопил их, и давно уже все закончили и отправили; теперь перевожу рассказик с немецкого. Занялась бы этим с удовольствием, если бы был интересный материал».

Ей исполнилось 62 года. Она работала, зарабатывала, помогала работе детей.

Стремилась к Володе.

«...Глеб[1] с Базилем[2] назначены в село Тесинское — тоже с волостным правлением и т. д., в 37 верстах к северу от Минусинска, на реке Тубе (приток Енисея с правой стороны). Об них послана сегодня телеграмма в департамент полиции с просьбой разрешить ехать на свой счет. Надеюсь, что им это разрешат, по просьбе матери, которая здесь все хворает, и тогда мы поедем до Минусинска вместе. Лето я проведу, следовательно, в «Сибирской Италии», как зовут здесь юг Минусинского округа. Судить о верности такой клички я пока не могу, но гово-

---

[1] Г. М. Кржижановский.
[2] В. В. Старков.

рят, что в Красноярске местность хуже. Между тем и здесь окрестности города, по реке Енисею, напоминают не то Жигули, не то виды Швейцарии: я на днях совершил несколько прогулок (дни стояли тут совсем теплые, и дороги уже высохли), которыми остался очень доволен и был бы доволен еще больше, если бы не воспоминание о наших туруханцах и заключенных минусинцах...

Маняшу благодарю за письмо: работу я ей задал теперь уже такую, что боюсь надоесть ей цифирью...

Что это Митя задумал даже к чуме ехать!?? Если уже такая страсть у него к поездкам да к медицине, так я готов даже предложить ему взять место на каком-нибудь переселенческом пункте. Например, ...в Восточной Сибири. Я слышал *кстати,* что переселенческий пункт открывается в «моем» селе Шушенском... Вот, вот, милости просим».

А правда! Как хорошо было бы поехать Мите к Володе! Просто счастье — такая возможность. Чего лучше? Настолько она была полна заботой помочь, быть возле того, кому труднее, что искренне удивилась, когда Митя отказался ехать. Впрочем, и приглашение оказалось шуткой, и 25 мая Володя уже писал из Шушенского: «Я просто расхохотался, прочитав в твоем письме, что Митя, «чудак такой», не едет сюда! Да ведь я же в шутку писал про это! Ну, с какой же стати ему тащиться за 4500 верст, терять *месяц* (туда и назад) на переез-

ды,— и все из-за такой прелести, как Шушу-шу!»

Митя не поехал, но собралась тихая, умевшая молчать и шутить с непроницаемым видом, тоненькая Наденька Крупская со своей мамой. Променяла-таки ссылку в знакомую всем Уфу на Шушенское. Тут комментарии были излишни.

Володя в Сибири освоился, даже щенка Пегаса завел. Ездил в Минусинск, охотился, готовил со всей своей «компанийкой» (выражение Нади) изменение судеб России.

На полках в Шушенском стояли томики привычных, знакомых с детства Гейне, Гете, Шиллера... Много лет спустя, в Кремле, он напишет в библиотеку просьбу прислать Гейне, «лучше малого формата». Не об этих ли книгах, стоявших еще в комнате матери в Симбирске, подумает он тогда?

«Анюта спрашивает — когда свадьба и даже кого «приглашаем»?! — писал сын.— Какая быстрая! Сначала надо еще Надежде Константиновне приехать, затем на женитьбу надо разрешение начальства — мы ведь люди совсем бесправные. Вот тут и «приглашай»!.. На вопросы Маняши: какой у Глеба голос?.. Гм, гм! Должно быть, баритон — что ли. Да он те же вещи поет, что́ и мы, бывало, с Марком «кричали» (как няня выражалась)».

Ей так хотелось побыть на свадьбе сына. Мария Александровна так и видела его блещущие лукавством и умом карие глаза, его поразительное внешнее сходство с от-

цом и в то же время — такое все его, еще не бывалое, неповторимое.

Поехать не пришлось.

А летом, поддерживая раз навсегда заведенный порядок, Ульяновы собрались на дачу в Подольск — крохотный городок — можно в нем остаться и на зиму. Приехала лечившаяся в Крыму Анна, приехала Маня. Ждали из тюрьмы Митю. В саду, по традиции, сохраняли к его возвращению куст орехов, как когда-то вишни для Ильи Николаевича. Митя вернулся в августе. Застал всю семью за горячей работой. Шла переписка с издательством в Питере (Володя с Надей перевели книгу Вебба), хлопотали о получении и пересылке им гонорара. Отправляли книги, журналы в Шушенское, в помощь работе о «рынках» («Развитие капитализма в России»). В письмах Володи и Нади (часто они писали вместе) все выглядело идиллически:

«...По теории шушенских охотников теперь самая лучшая охота на тетеревей: в мороз они ничего не ели, а теперь так усиленно питаются, что и охотника не видят... Мы заняты приготовлением к поездке в Минусу. Впрочем, все приготовления состоят в том, что Володя привесил к стене бумажку, на которой и записывается все, что надо купить в городе...

После окончания «рынков» существует план засесть основательно за языки вообще, а за немецкий в особенности.

...Пришел Володя и бунтуется, чего я не иду на каток и сижу дома. Поэтому кончаю

письмо. «С новым годом!» Крепко целую Вас и Анюту, Д. И.[1] и М. Т.[2] кланяюсь... Ваша *Надя*».

20 декабря из Шуши в Подольск.

Каток. Тетерева. Гуляют. Ездят в Минусинск. Заняты покупками. Все это не так, конечно. Но молодое счастье помогает терпеть ссылку.

То, что Владимир Ильич за три года напишет больше тридцати работ, которые войдут в историю революции в России, подготовят самый крутой перелом мира, даже мать не могла представить. Жила всегда настороже, всегда в ожидании, в напряжении. Не раз собиралась в Шушенское, но нужна была тем, кто здесь. Сын писал о группе сосланных в Якутию: Ергин, Фрелих, Змеев, Алюшкевич, Талалаев, Тютрюмов, Абрамович, Гольдман. Просил сообщить их родителям, где они находятся. Мать разыскала, передала адреса.

Знала она его бои с ревизионистами, с «экономистами», Прокоповичем и Кусковой — она вместе с детьми возмущалась их «кредо». Она не была революционеркой, была просто матерью. Болéла об их «работишке», как говорила Надя, о квартире, питании, здоровье, бедах Ванеева, о детишках Проминского, тяжело заболевшего в ссылке. Сын просил помочь Анатолию Ванееву, значит, надо помочь. Но Анатолий все-таки умер. И это было ее горем.

---

[1] Д. И. Ульянов.
[2] М. Т. Елизаров.

Обыски оскорбляли ее. Аресты заставляли предполагать более страшное, чем было на самом деле. Боялась — вынесут ли физически? Сколько потерь! Поехала в Петербург в департамент полиции просить о переводе Владимира Ильича из Енисейской губернии хотя бы в Псков.

Директор департамента вышел из кабинета, оглядел дожидавшихся посетителей. Невольно отметил стройную прямую фигуру худенькой женщины в черном, ее моложавое тонкое лицо с большими блестящими глазами, совершенно белые волосы. Наморщил лоб. Ах, да, Ульянова! Та самая... Опять! Ее прошение было в его руках. И на всю залу, напыжившись, произнес:

— Можете гордиться своими детьми! Одного повесили, и о другом веревка плачет.

Словно кто-то ударил кулаком в сердце. Но она не опустила головы. Только посерело лицо. Поднялась с кресла, полная достоинства, взглянула, словно сквозь, словно в пустоту:

— Да, я горжусь своими детьми.

И вышла.

Болван смутился. Засеменил. Откашлялся. Никто не посмотрел на него. Со стыдом отводили глаза.

Недаром Владимир говорил, что «мыкаться по присутственным местам — дело зачастую сугубо неприятное, более неприятное, чем сидеть».

Дмитрия выслали в Тулу, Марию — в Нижний. Нужно было разрываться между Тулой и Нижним. Только бы хватило сил.

Детей никогда не оторвать от материнского сердца. Закроет Мария Александровна глаза и физически ощутит их присутствие, дыхание, голоса, привычные движения. «Не горбись, Володя, у тебя одно плечо выше другого», «Маняша, не хмурься».

В последние годы жизнь становилась все труднее. Ждали с Аней Володю. Жили в Москве, на окраине. Его должны были освободить в январе 1900-го. Наконец: «выеду... если не надбавят срока». А если надбавят? Прибирать, чинить, кипятить, ходить в лавочку, быть, как всегда, улыбаться, сесть за рояль, а мысли там...

Все, все вспоминается теперь, когда она едет во Францию из Берлина, где встретила Аню. Чужой заграничный вагон. Нечем занять себя, и руки, не привыкшие к праздности, лежат на узеньком столике...

Франция! С детства знакомое, читанное, слышанное, эталон высокого искусства и суетности тоже, своеобразие, вкус, книги утопистов. Все это обступает со всех сторон. Проплывают за узенькими окнами зеленые холмы, виноградники. Черепичные крыши

маленьких домиков и золотые петухи на шпилях церквей. Рабочие в беретах. Густая зелень садов. Гарь. Газ. Копоть фабрик. Долина Руана. Поля роз. Яркие разноцветные лодки вдоль речек. Она не умела быть безучастной. Вбирала, впитывала. Все увиденное становилось ее богатством. Сразу рождалось желание поделиться, показать, рассказать.

Мысли возвращались назад, в прошлое, домой. Дом был там, где собиралась вместе семья, и уже давно не было дома в обычном смысле. Потому они научились ценить минуты встреч. Сейчас они едут, чтобы увидеть Володю во Франции, в Нормандии.

Она вспоминает: на почти захолустной Бахметьевской улице у Камерколлежского вала увидела извозчика, заиндевевшую лошадь. Не разглядев еще, уже знала — приехал Володя. Владимир вышел с Митей из саней худой... а писал, что поправился.

— А как же Надюша?

— Поехала кончать ссылку в Уфу.

Важно, что живы, здесь, заняты своими делами. Только и разговоров, что о создании газеты.

Мать, как всегда:

— Посидим за столом, попьем чаю...

Вечером пели, Маняша подбирала музыку. Володя:

— Да ты только послушай, мама, как здорово:

То не зверь голодный завывает,
Дико разыгралася пурга.
В стоне ветра ухо различает

Хохот торжествующий врага.
Смело, братья, смело над долей злой
Песней посмеемся удалой.
Там, в России, люди очень пылки.

Маняша (с нажимом): Здесь, в России! Смеются и начинают куплет снова:

Здесь, в России, люди очень пылки;
Там (и!) под стать геройский им наряд.

Голос мамы звучал вместе со всеми. Было ей столько лет, сколько им.

— Нет, лучше «Вихри враждебные». Чудесно перевел с польского Кржижановский,— порывисто перебивает Володя.

Очень недоставало Нади. Она многим казалась молчаливой, даже вялой. А как раскрывалась перед своими, каким юмором сверкали ее рассказы! А как рисовала! Прозвала Маняшу медвежонком, не зная, что так же зовет ее мать.

Володя уехал в Псков. Маняша с головой ушла в дела «Искры» — организованной Владимиром Ильичем общерусской социал-демократической газеты. Готовился к отъезду за границу — ради газеты. Искали деньги, паспорта.

Только вздохнули немного — в мае весть: Володя арестован в Петербурге. Ему же запрещен въезд туда! Можно было прийти в отчаяние. Все так хорошо устраивалось. Нужно же хоть передохнуть в Подольске после ссылки, перед отъездом. «Раскинули шатер» — так это у них называлось: появились из погребца стаканы, чайница, спиртовка. Дом! И вдруг...

На этот раз арест был недолгим. Володя явился в Подольск веселый, глаза так и лучились, не терпелось рассказать. И когда уселись за чайным столом, рассказал все в подробностях.

После чая вслед за матерью сын вышел в сад.

Бывают уголки, которых кажется, не касаются никакие бури. Безмятежно сверкает зелень. Ошеломляюще пахнет сирень.

— А уж это дело твоих рук.— Оба остановились возле круглой клумбы, полной неярких душистых цветов.— Без этого ты не можешь. И как хорошо!

Шпики, сновавшие за забором, ничего предосудительного ни услышать, ни заметить не могли. Семья, казалось, была не из стесненных в средствах — то и дело заглядывали гости. Кое-кто с ночевкой. В сиреневой беседке постоянно уютно ворчал самовар, звенела о конфорку заглушка, вспыхивал смех, кто-то, обжигаясь, доставал из-под крышки самовара сварившиеся яйца.

— Воды! Где холодная вода?

— Сварили? Всмятку или в мешочек?

Приезжали в скромный, почти дачный домик Лепешинский, Шестернин с женой. Ожесточенные споры велись за закрытыми ставнями, когда Софья Павловна Шестернина выходила на крыльцо, потягивалась, закинув руки за голову, а потом, обняв Маняшу, кокетливо говорила:

— Благодать-то какая!

Спорили из-за позиций заграничной груп-

пы «Рабочее дело» [1], договаривались о шифре, о том, как собирать и переправлять корреспонденцию, как перебрасывать газету в Россию.

Владимир подошел к матери и осторожно провел ладонью по ее плечу, как будто стряхивая соринку, прятал ласку.

— Очень хотелось бы съездить к Надюше в Уфу,— сказал он.

И не нужно было добавлять, что ждали его уфимские кружки, что дело, дело, ради которого теперь жила вся семья, звало его туда. Зачем говорить о том, что и так понятно обоим. А Надю повидать маме хочется не меньше, чем ему самому.

— Наконец-то вместе, на пароходе! — говорит она. — И Аня. Да?

В Петербурге снова она ходила по прокуренным, проплеванным канцеляриям, чуть брезгливым жестом подбирая платье, чтобы не задеть пол, скамьи. Говорила негромко, твердо. Удивленно поднимала брови, по-молодому вразлет над глазами, не хотевшими стареть, как бы не допуская мысли об отказе.

Разрешили эту семейную поездку! Ненадолго.

Самое любимое путешествие Ульяновых, как всех волжан, было путешествие на пароходе. По железной дороге до Нижнего, а там маленький пароходишко старательно

---

[1] Непериодический журнал сторонников оппортунистического течения в российской социал-демократии — «экономизма», орган «Союза русских социал-демократов за границей».

зашлепал плицами. Знакомые места юности, начало жизни... Мать сидит в плетеном кресле возле небольшого белого столика на палубе. Перед нею — один на другом пузатые круглые чайники: один побольше, с кипятком, другой поменьше, с заваркой. На тарелках бублики, халва, ягоды, мед.

Каму сменила Белая — ласточкины гнезда в откосах берегов. Дым от кизячных костров. Пасущиеся табуны.

От счастья не устают. Они тут — ее дети. Можно уйти в каюту, молча слушать их голоса, опустить деревянную шведскую шторку окна, прилечь. Брат и сестра — совершенно одни на палубе, зная, что, кроме матери, никто их не услышит, придвигаются к ее окну и говорят о будущей газете.

— Ты понимаешь, это как бы леса для построения партии? — картавя говорит сын.

— Сколько провалов,— отвечает дочь.— Срывают съезды в России. Весной разгромили южную организацию.

— Лалаянц арестован. Помнишь, он приезжал к маме перед Псковом? И ведь готовил съезд... Нужно, Аня, и тебе собираться за границу. Хорошо бы и маме с нами.

— В Уфе мы с мамой прогостим недолго. Повидаемся с Надей и...

— Трудно Наде там одной. Правда, Елизавета Васильевна... Да, достается нашим мамам...— Помолчали.— Значит, собирайся Аня за границу. С газетой дела много.

В Уфе они погостили несколько дней. Надя выглядела плохо. Похудела. Но, как всегда, увлечена уроками, влюблена в «сво-

их» детей. Показала всех Марии Александровне, Ане. У всех находила какие-нибудь таланты.

Владимир Ильич в Уфе задержался, а вернувшись в Подольск, быстро собрался и уехал за границу. Мать подумала: там ему безопасней. Вскоре уехала и Анна.

...По вагону проходит проводник, объявляя остановку. Мария Александровна вздохнула. Так задумалась! Посмотрела в окно.

На станции нарядные дамы в накидках, опушенных мехом, несмотря на июнь. Собачки на шелковых шнурках, с шерстью, выстриженной шахматным узором.

Мария Александровна рассеянно берет пачку рекламных листков. Читает. Откидывается на спинку бархатного пыльного кресла, подложив под голову носовой платок.

Митя, слава богу, окончил Юрьевский университет. Трудно поверить, что еще несколько часов — и она увидит Володю здесь, во Франции. Изморось. Туманец. Тусклый рассвет.

Все знакомо по книгам, по рассказам. Париж, словно опаленный огнем революции,— черно-белый.

Когда встретились, наговорились, Аня начала показывать матери исторические места. При всем интересе к новому Мария Александровна утомлялась. Володя, видно, был занят большим делом, очень озабочен, очень рвался в Россию. Иногда исчезал надолго.

Юрист, философ, экономист — он был погружен в работу.

Хорошо у моря.

С хозяевами скромного домика нашлись у нее общие интересы. Сидя на железных стульях под золотым деревом (в детстве на окне оно было маленьким — экзотическая редкость, а здесь — целые рощи!), говорили о яблоках, о том, как приготовлять вяленые сардины. Далеко в море видны были острые камни и буруны серых волн вокруг них.

Приезжих мало. Рыбаки заглядывают редко. В праздники французы вздыхали:

— Хорошо, что Новый год и рождество один раз в году — надо делать подарки.

Володя целыми днями если не уезжал, то писал. Иногда ей казалось, что это не Франция, а Россия. Счастье в обыкновенности, простоте общения с сыном, в самых будничных его заботах, в его научной работе. Мать знала, что работа эта неотъемлема от общественной — но не она, а история, мир узнали всю напряженность жизни его в тот год.

Тот, кто для матери был ее мальчиком, становился вождем мирового революционного движения.

Маню выслали в Самару еще до отъезда матери во Францию. Мария Александровна уже знала, что и самая младшая завоевала доверие партии, работает в секретариате ЦК, много помогает Владимиру Ильичу в его издательских делах. А когда задерживалась где-нибудь, матери не сиделось дома. Она прохаживалась в темноте по кварталу или затихала на скамейке у крыльца.

— Это ты, Маня? — первое что слышала Мария Ильинична, приближаясь к дому.— Я беспокоилась, почему тебя долго нет...— Тон чуть извиняющийся.— Проводил тебя кто-нибудь?

«Мама на посту, значит, на засаду не нарвешься, значит, все спокойно»,—мелькало в мыслях Марии, а мать, вздохнув, говорила:

— Как хорошо будет, когда не будет ни тюрем, ни решеток и люди будут свободны.

Она давно перешла в новое поколение, оставив далеко позади ровесников. Ей важно было чувствовать только то, что она нужна молодым. С радостью она держала корректуру их статей, переписывала Манины служебные бумаги.

Наблюдая издали, как дружны Владимир и Надя, как схожи их интересы, широк горизонт, читая их письма из-за границы «от бродяг», от «партии прогулистов», видя, как счастливы Аня с Марком, она меньше тревожилась за них. Но оставить тех, кому было плохо в эту минуту в России, она не могла. Она понимала самые сложные жизненные ситуации: Аня и Марк то и дело в разлуке, Надя часто болеет. И все же они лучшие друзья, больше — товарищи, единомышленники.

Митя женился на милой девушке Тоне, живет в Малороссии. Стало быть, что бы ни случилось, есть у них душевная опора, а с нею ничего не страшно, все перенесут. Это она знала по себе. Мечтала о замужестве Мани.

Летом 1903 года вспыхнула стачка булочников и начались аресты административно высланных. Чудесный Конрад Газенбуш, бывший студент ветеринарного института, казанец, создатель и руководитель казанской социал-демократической группы, большой друг Володи, уже сидел за решеткой, когда его молоденькую жену Шуру схватили жандармы.

Газенбуши жили на Садовой, а Ульяновы неподалеку, на Самарской улице. Мария Александровна часто бывала у Газенбушей, брала к себе маленькую их девчурку, когда Шура, служившая корректором «Самарской газеты», дежурила.

Узнав о беде, Мария Александровна сразу же пошла к Шуриной матери. Та, совер-

шенно растерянная, возилась с внучкой и малышом арестованных Кротковых.

— Берите с собой ребятишек. Идите в жандармское управление, к полковнику, и скажите, что оставите детишек у него. Если нет особых улик — мам освободят. Уверяю вас.

И действительно, в полдень Шура и Кроткова вернулись домой.

Осенью 1903 года Ульяновы съехались в Киеве. Дети на свободе, все как будто спокойно. Приближался Новый год. Нарядный, сверкающий инеем и рождественской иллюминацией город. Декабрь, а воздух мягок, и снег кажется теплым. Невольно улыбаясь, проходила она мимо витрин, полных краснощеких дедов-морозов, снегурочек, гномов, смешных ватных черевиков и елок, обвешанных переливающимися всеми красками стеклянными шарами, и думала: «Кажется, мне выпало нынче быть мальчиком у Христа на елке». Рассказики о замерзающих крошках, в последнюю минуту спасаемых ангелами-хранителями, наводняли иллюстрированные журнальчики. В семье любили пародировать эту слащавую, паточную литературу. Но уж очень удачно сложились нынче каникулы! Дети, зная, как Мария Александровна любит елку, привезли большое свежее дерево, и квартира наполнилась смолистым запахом.

В гости ждали Кржижановских — Глеба Максимилиановича с Зинаидой Павловной. Они должны были привезти письмо Владимира Ильича. Аня проверила шахматный,

специально заказанный у верного человека чудо-столик с тайником для нелегальной литературы.

Уже куплен был окорок. Застыл поросенок под хреном с веточкой петрушки во рту.

Мария Александровна, впервые за долгие годы напряжения, спокойно прошлась по Крещатику, надышалась свежим морозцем, купила золоченых орехов, краснобоких яблок, конфет в блестящих обертках и позвонила у парадного квартиры на Лабораторной.

Все было готово! Дети торопились окончить приготовления до ее прихода, чтобы она не устала перед ужином. Но она, обрадованная и растроганная, все ловила себя на неосознанной тревоге. Отвыкла быть спокойной. Мысленно подшучивала над собой. Все было как надо, только червячок, точивший сердце, не хотел затихнуть. Собрались вовремя. И Кржижановские привезли не только письмо Володи, но и статью Старика «Почему я вышел из редакции «Искры»?» (как только не называли ее сына: «Петербуржец», «Ильич», «Башка», «Старик»).

Перепечатать, размножить присланную статью и разослать ее в организации поручили Мане. Она спрятала документ в тайник шахматного столика.

Никто не помешал встрече Нового года.

Жандармы ворвались первого. И вот там, где пахло нагретой хвоей, зажженными парафиновыми свечками, потянуло шинельным мокрым сукном, сапогами. На вымы-

том, натертом полу отпечатались грязные следы. Мария Александровна сидела в кресле у шахматного столика. Перед нею — упавшие фигуры неоконченной партии. Голова матери, как всегда, была поднята. Мария Александровна подперла подбородок рукой и с презрением смотрела на жандармов, переворачивающих вверх дном мебель, книги. Обеих дочерей увели. Хорошо, что Митя с Тоней ушли домой.

— Мамаша сомлевши,— сердобольно сказал один жандарм.— С праздничком!

Она не ответила. Они хозяйничали до вечера. Но как только незваные гости удалились, встала и быстро-быстро, накинув тальму, заторопилась предупредить Митю.

Тем временем в жандармском управлении прибавилась еще одна бумага:

«Сведения о лице, обысканном в 19 часов вечера 1-го января 1904 года.

Фамилия, имя, отчество: Ульянова Мария Александровна. Звание (подробно): вдова действительного статского советника.

Занятия (подробно): ничем не занимается. Существует на пенсии.

Лета и вероисповедание:

(имя, отчество жены, мужа, детей) вдова имеет дочерей: девицу Марию Ильиничну и Анну, замужем за Елизаровым. Живут вместе. Сыновей: Владимира — за границей, Дмитрия — в Киеве.

Имеет ли право на жительство в Киеве: имеет.

Где обыскано: в квартире своей № 14

дома № 12 по Лабораторной улице Лыбедского участка г. Киева.

Где проживает (подробный адрес, если проживает там, где обыскана, то вписать «по месту обыска»): Лабораторная улица, дом № 12, кв. 14, где и обыскано.

Что обнаружено по обыску преступного: ничего».

Митя и Тоня были арестованы! Вот и кончился святочный рассказ про мальчика у Христа на елке.

Привычная боль сковала все ее существо. Но это была не крушащая, сламывающая боль, а стискивающая, как броня, выпрямляющая, заставляющая думать об одном: как, что сделать, чтобы им там, за решеткой, стало легче, чтобы скорее вырвать их на волю.

Мария Александровна оказалась совершенно одна в чужом городе, среди чужих людей. Скорее, скорее написать Володе и Наде в Швейцарию, посоветоваться, подать прошение. Пойти узнать, где сидят дети, в чем их обвинили. Сделать передачи!

Квартира выглядела разграбленной. Сняв тальму, Мария Александровна медленно обошла комнаты. Нужно было прибрать, разобрать. Внимательно встряхивала она и развешивала одежду в шкафах, расставляла книги, сметала мусор вместе с осыпавшейся хвоей к печкам. И думала, мучительно думала.

Шахматный столик стоял нетронутым. Материалы, присланные Володей, в сохранности. Знала: за ними должны прийти

друзья. Большевики! Непривычное слово!

Зина Кржижановская узнала, что сидят все в разных тюрьмах, в общих камерах.

«...Внизу везде в Женеве туман, сумрачно, а на горе (около 1200 метров над уровнем моря) — роскошное солнце, снег, салазки, совсем русский хороший зимний денек. А внизу под горой la mer du brouillard, настоящее море тумана, облаков, за которыми не видно ничего...

Крепко тебя обнимаю, моя дорогая. Как здоровье? Как поживаете?»

Они еще ничего не знали.

«Роскошное солнце»! «Поживала» она одна. Но через две недели дошло до них ее письмо.

«Хорошо, что ты чувствуешь себя немного спокойнее, лишь бы были здоровы наши арестанты. Ввиду массы арестов, их, быть может, забрали за компанию...»

Он знал там все лучше, чем она здесь.

В жандармском управлении старались представить дело серьезнее, чем было в действительности. Вот и Володя (ему виднее) пишет, что, может быть, забрали их «за компанию», а жандармы нагоравали таких ужасов, что Мария Александровна возвращалась каждый день на Лабораторную измученная, с одышкой. Четыре тюрьмы! Четыре узелка с передачами. С утра до вечера — покупки, стряпанье котлет, пирожков, всего, что нужно было распределить между соседями по камерам, а число их то и дело менялось. Сама есть забывала.

Маняша угодила в «Лукьяновку». После

побега одиннадцати «искровцев» порядки там посуровели, внутреннюю охрану несли хамы-жандармы.

Что должна была подумать мать, когда однажды, придя с передачей, она увидела усатую ухмыляющуюся рожу и услышала, что «детки не желают передачи и от свидания отказались». Она не могла найти объяснения, предполагала самое худшее. Нагруженная пакетами, уехала обратно. И в положенный день явилась снова. И снова услышала то же самое. Приезжала, бродила возле ворот тюрьмы: вдруг увидит? Сколько времени прошло, пока она узнала, что арестованные в знак протеста против безобразного обращения с ними объявили бойкот скоту-жандарму и не принимали через него передачи, не выходили на свидания по его вызову, а он умышленно дежурил вне очереди.

Много-много позже, когда Марии Александровны уже не будет на свете, дочери вспомнят об этом; о том, как горячая, бескомпромиссная молодость в запальчивости не подумала о самых дорогих людях, о том, каково было старшим терзаться неизвестностью и выслушивать оскорбительные заявления жандармов.

Мать узнала обо всем, когда возобновились свидания с дочерьми. Она с грустной улыбкой только покачала головой. Их жизнь была ее жизнью, и не было более надежного товарища, чем она.

Свидания с Митей не разрешили, но письма от него изредка передавали. Однажды,

получив перечитанный, перемятый жандармами листок, Мария Александровна заметила неоконченные как бы в спешке слова. Она научилась вглядываться, вдумываться в каждый знак. Выписывая недостающие буквы, она прочла просьбу передать Марку, чтобы он признал своими 500 рублей одной купюрой, которые были у Мити при аресте. Откуда же у молодого врача, еще без определенной практики, могла оказаться такая крупная сумма? Матери не нужно было объяснять, что деньги принадлежали партии. И когда Елизарова как свидетеля вызвали на допрос, он подтвердил, что дал деньги взаймы «на обзаведенье» начинающему врачу. Обвинение в хранении партийных средств отпало.

Полгода тянулась жизнь в Киеве. Радовали только письма из Швейцарии. А газеты приносили безрадостные вести. Все чаще повторялись имена адмирала Макарова, Куропаткина. Сложена была песня о гибели «Варяга» и «Корейца» — славных кораблей.

По вечерам женщины шили белье для госпиталей, щипали корпию. На почтах появились очереди — жены, матери отправляли посылки на фронт.

Бездарное правительство проигрывало сражения, теряло талантливых, отважных людей. Народ глухо волновался, все больше появлялось ясных, здравомыслящих людей, задумывающихся над судьбами родины.

Несколько лет назад, когда Анна ездила в Порт-Артур, Марии Александровне рассказали о случаях бандитских нападений

японцев на русских мирных жителей. Болело материнское сердце. Тогда же братья Макушины — хорошие передовые люди — печатали в газете «Сибирская жизнь» ее и Анины переводы рассказов, и мать писала ей об этом.

Наконец освободили Маняшу и Аню. Скорее сообщить Володе и Наде.

Надежда Константиновна писала: «Крепко вас обнимаю, мои дорогие. Только вот нехорошо, что у обеих у вас здоровье плохо. Отдохнуть вам непременно надо — главное, отдышаться на свежем воздухе, Киев все же город...»

«Дорогая мамочка! Приписываю наскоро пару слов. Большущий привет Маняше и поздравление с свободой. Тебе надо непременно отдохнуть летом. Пожалуйста, перебе-
ритесь куда-нибудь на лоно природы...

Твой *В. Ульянов*».

(2 июля 1904 г. Из Лозанны в Киев.)

Душа отдыхала на этих строках. Но снова нужно было брать большой «официальный» лист бумаги и писать, представляя тусклые жандармские гляделки:

«У сына при обыске отобрана писанная кем-то и данная ему на хранение программа занятий с рабочими.

Полагаю, что семимесячным заключением, полтора месяца из них он был даже продержан в крепости, сын мой достаточно уже наказан за имение при себе этого листка... Не могу не высказать глубокого убеждения своего, что дети были арестованы единственно вследствие предубежденного взгляда на

семью нашу... В Киевском жандармском управлении, куда я явилась тотчас же после ареста детей... мне указали на старшего сына, прибавив, что он сильно скомпрометирован.

Старший сын мой живет уже более десяти лет отдельно от семьи и несколько лет за границей, и если он и действительно скомпрометирован, то я не думаю, чтобы сестры и брат его должны были отвечать за его поступки».

На то, чтобы радоваться, тоже нужны силы. Вот все на свободе: дочери, Митя, Тоня. Митя с Тоней едет в Симбирск, где он получил место санитарного врача. Елизаровы съезжаются в Саблино под Петербургом, на даче, купленной Марком Тимофеевичем, и Маняша увозит Марию Александровну к ним. Нужно опомниться, отдохнуть.

Митя пишет, что зашел в бывший их дом. Новый хозяин барон Штемпель все изуродовал, вырубил половину сада, воздвиг каменную хоромину «модерн» с мраморной верандой-загогулиной.

Приезжают Володя и Надя. Но не успел наступить так ожидаемый 1905 год, как вся Россия вздрогнула от залпов на Дворцовой площади. Через год в Сибири расстрелян Бабушкин — один из близких сподвижников Владимира, один из ее новых детей. Они узнали об этом спустя несколько лет.

Дни взлета сменяются годами реакции. Но партия не сдается. Владимир Ильич в эмиграции. Скляренко, избранный делегатом на пятый (Лондонский) съезд партии,

повидался с ним. Вернувшись в Петербург, он пришел к Елизаровым. Без конца рассказывал о съезде.

— Стосковался по музыке, Мария Александровна!

И она играет для него. Подолгу. Если отрывают хозяйственные дела, он просит играть Анну. Разнежившись, говорит:

— Спойте, пожалуйста, «Я видел березку...»

Анна расхохоталась.

— Ну и вкус!

Но Скляренко неожиданно серьезно ответил:

— Люблю или боевую песню, или уж сентиментальную. Вслушайтесь — ведь что-то такое есть...— Закашлялся, махнул рукой.

Здесь он был дома.

Измученный, затравленный человек, забежав сюда, обретал уверенность. Вздохнув, с новыми силами шел дальше, в свой страдный путь. Так было и со Скляренко. Он был у них, сам не зная того, в последний раз.

О тюрьме, об этапе он успел рассказать в своих очерках «За решеткой», «Приемный покой». Анна и Мария Александровна читали их в «Вестнике Европы», едва сдерживая слезы. Подписывался он — Марусин.

Анна, чтобы развлечь мать, предложила ей пойти посмотреть синематограф, но «живые картины» показались Марии Александровне, ценившей все новое, смешноватыми и бедными.

В Женеве вышла газета «Пролетарий» со статьей Владимира Ильича «Лев Толстой, как зеркало русской революции». Мария Александровна уже знала, что статью Толстого «Не могу молчать» печатали многие газеты Европы, Америки и Азии. Голос великого писателя, поднятый против «столыпинского галстука» — виселиц, звучал во всем мире, требовал, чтобы «кончились эти нечеловеческие дела».

80-летие Толстого отмечали все, даже апологеты царской власти, как бы «перемаливая» великого старца к себе. Этого нельзя было допустить.

Сын был верен себе в непримиримости, разящей резкости, сметая «кадетских балалайкиных» из «Речи», говоря о противоречиях в творчестве, учении, философии Толстого. Как он прав!

Таким беспощадным может быть только истинный друг.

Владимир писал: «И если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях».

Владимир Ильич нападал на легальную русскую прессу, до тошноты переполненную лицемерием, на «продажных писак», которым «вчера было велено травить Л. Толстого, а сегодня — отыскивать в нем патриотизм».

Резок! Но справедлив. Так оно и есть. Все становится ясным после его слов.

Письма в Москву приходили почти ежед-

невно, но Мария Александровна заболела и не знала, что у Мани, переехавшей к брату за границу, обострился аппендицит. Владимир и Дмитрий, только когда Маня стала поправляться после операции, сообщили матери.

«Вот, начали скрывать, беречь, значит, пришла старость»,— подумала Мария Александровна.

Анна уговаривала ее поехать к Мите, уже служившему в Крыму, а Владимир и Надя все звали ее к себе.

В день Володиного рождения Мария Александровна писала:

«Поздравляю тебя... дорогой мой; будь здоров весь следующий год, и не было бы у тебя таких неудач и неприятностей с твоей литературной работой, как нынешний год... Собираетесь ли на север Франции, где мы пожили вместе несколько лет тому назад? Мне очень нравилось там...»

Встреча с ними восстановила бы ее силы.

В конце весны 1909 года вышел большой труд сына — «Материализм и эмпириокритицизм».

Сентябрь в Стокгольме. Еще тепло. Много цветов. Рыночные площади уставлены жестяными кувшинами, похожими на урны, и в них — такая яркость, такая нежность красок, аромата и свежести.

Она написала Ане в Териоки: «Дорогая Анечка! Сегодня утром отправили тебе телеграмму, а сейчас опишу тебе наше путешествие. Доехали мы прекрасно... Качки совсем не было... Пароход опоздал и подошел к Стокгольму в начале 10-го. Мы стояли с Маней у самого барьера и вскоре увидели Володю. Я не узнала бы его, если б Маруся не указала. Она прямо взвизгнула от радости, когда увидела его... Я нашла его очень похудевшим и изменившимся, но он уверяет, что чувствует себя очень хорошо. Сняли 2 комнаты: одна, побольше, для меня и Мани, другая — для него, очень хорошенькие и чистые, не высоко подниматься... и мне очень понравился здешний стол, можно получить и овощи, и каши, и самых свежих яиц, и молоко...

Маня целует тебя.

Что пишет Марк? Хочу писать ему отсюда.

Не было ли письма от Мити или Тони? Напиши, если что узнаешь о них...»

Наблюдая неторопливую, размеренную жизнь города, Мария Александровна с усмешкой отмечала: вот откуда танта Екатерина аккуратистка...

Мария Александровна с Маней, пока Владимир Ильич работал в библиотеке или сидел над рукописью и книгами в своей комнате, ходили по музеям, паркам, просто по улицам. Как-никак это чем-то не чужая для них страна — бабка была наполовину шведкой. Но ни Мария Александровна, ни Мария Ильинична при всей доброй заинтересованности не находили тут действительно душевно «своего». Видно, так уж заполонили их просторы и леса Волги, воздух, села и города родины. Но интересно им тут было! Однако все заслоняло счастье встречи с сыном. Десять дней вместе! Видеть, как склоняется над столом, уже не такой молодой. Видеть, как уходит, идет по улице: коренастый, широкоплечий, в котелке. Спокойный, усталый, живой, на свободе!

Гулять вместе с ним и оживленно болтающей Маняшей. Быть вместе.

Володя, как всегда, внимателен, предупредителен в каждой мелочи.

— Мама, ты хочешь пойти с нами на собрание рабочих-эмигрантов? — спросил он с утром.

— Ты будешь выступать? — заволновалась она.— Где?

— Буду. Ты столько помогала нам, а ни разу не была на наших собраниях...

Конечно, она хотела. Заранее приоделась. Посмотрелась в зеркало. Кажется, все в порядке.

Они с Маняшей пришли в народный дом. Общество называлось «Досуг и польза». Небольшой зал был снят на этот вечер. Сели поближе, чтобы слышать получше. Когда сын вышел к столику, заменяющему трибуну, у нее екнуло сердце. Первый раз она услышит выступление Володи. Он заговорил оживленно и весело.

Конечно, ей вспомнились другой зал и другая речь. Но там был суд. Человек шел на смерть, жертвовал собой. Здесь народ собрался отдохнуть, узнать, как поправить свою жизнь. Здесь Владимир говорил для жизни. Ирония и добрая шутка, устремление вперед, весомые слова, раскрывающие двери, срывающие завесу за завесой — путь вперед. Не в терниях и розах, не символический «светлый путь», а булыжная мостовая, сельские проселки чудились ей. В каждом слове звучали страсть, напор.

«Как он напрягается! Так его ненадолго хватит!» За всегдашней сдержанностью не видно волнения, но сердце колотится так, что от шума в ушах она не все слышит, как тогда.

Она давно и навсегда поверила в дело своих детей. Они научили ее понимать, что святая жертва Александра и его друзей осталась позади — благородной попыткой, а теперь народ созрел для общей борьбы за переустройство мира.

Она уедет спокойной. Лишь бы скорее

сын, его товарищи вернулись в Россию, где готовится новая революция.

Теперь — ждать, помогать, дождаться! Теперь — недолго. Раз он говорит — значит, недолго.

По-прежнему приходилось следить за каждым своим словом, быть осмотрительной. Взойдя на пароход, принадлежащий русской компании, уже невозможно было еще раз обнять сына, потому что на русской палубе его могли арестовать. Му́ка на его лице. Ее лицо замкнуто. Пароход откалывается от берега.

Тоска вдали от сына, в особенности после поездки к нему, становилась все острее. Очень, очень тяжело без него дома, но в России он не сносил бы головы.

В меблированных комнатах, в которых они поселились с Маней в Москве, был обыск. Он поразил больше соседей, чем их самих. «Такие благородные дамы!»

Когда жандармы стучались в их комнату, мать быстро сказала: «Если у тебя есть что-нибудь, что надо спрятать, дай скорее мне». И спрятала сверток за корсажем. Их не арестовали. Ее не обыскали, несмотря на приказ жандарма. Устроили засаду. Шла пасхальная неделя. Занятий в управе, где работала Маня, не было. Каждую минуту мог заглянуть кто-нибудь из товарищей. Маня влезла на подоконник высокого окна, выходящего на улицу, и дожидалась подходивших, делала знаки, понятные им. Мать

стояла у двери. Заслышав чужие шаги, кивала Мане, и та соскакивала с подоконника. Часами так простаивали они, а когда выходили на кухню или в ванную, вид у обеих был возмущенный, у Марии Александровны даже немного чопорный.

...А 1910 год оказался счастливым. Все были на свободе. Володя и Надя переехали в Париж, в Лонжюмо. Они писали о том, что там же живет Инесса Арманд. Она снимает комнату близ парка Монсури, взяла рояль напрокат. Сидя в саду, они слушают «Апассионату».

Радостно узнать, что дети не теряют глубокого мира музыки.

Поздно осенью умер Лев Толстой. Трагедия великого человека, не понятого даже самыми близкими, одинокого в своей семье, глубоко взволновала Марию Александровну. Все было в ее жизни: смерть, разлуки, казнь, но непонимания быть не могло.

Веселы отнюдь не беспечные люди. Те, кто многое перенесли, знают цену радости, умеют ценить минуты без горя и опасений.

Марк получил работу в Саратове в страховом обществе, и все переехали туда.

Когда Анна показала Марку Тимофеевичу номер «Саратовского вестника» со статьей о талантливом мальчике Горе Лозгачеве — сынишке дворника,— мать вздохнула, потому что замечала: Ане недостает детей...

— Пойдем познакомимся,— предложила Анна Ильинична мужу.

Никто не подумал бы, встретив на улице эту элегантную пару — высокого плотного господина в легком сером пальто под руку со стройной дамой в шляпе с большими полями, с лорнетом на черной длинной цепочке,— что это семья революционеров, «взрывателей спокойствия» и «разрушителей существующего строя».

Анна вернулась с блестящими глазами:

— Мама! Мальчика надо взять к нам! Он умница, способный необыкновенно, а учить его не могут.

— А ты подумала, Аня, о своей беспокойной жизни?

— Подумала, подумала. Мы не отнимем его у отца с матерью, они очень хорошие люди. И он не будет мешать тебе,— добавила Анна тихо.

Когда Гора со своей старшей сестренкой Варей появился у Елизаровых, Мария Александровна увидела красивое смышленое личико, шмыгающий нос. Мальчик смущенно топтался на месте, одергивая чистую рубашечку.

— Мышка-горышка! — встретила его Анна.

— Горышка-торопышка! — вторила ей Мария.

— Горок-бугорок! — заключил Марк Тимофеевич, стараясь говорить басом.

Посыпались ласковые шутливые прозвища, очень забавлявшие Гору. Оправившись от смущения, он вытер нос рукавом.

Маня расхохоталась и подхватила под мышки, потащила к умывальнику.

Он приходил каждый день и быстро привыкал к семье, доброй, веселой, ясной.

Здесь не пили и не пели спотыкающимися голосами. (Гора за свою маленькую жизнь наслушался всякого.) Но зато здесь много читали, играли на рояле, умели слушать музыку, а не плясать под нее, топая ногами. Случалось, пели, но так душевно и негромко, что хотелось слушать без конца, молча, до слез. Все было ново, интересно, прочно.

Очень далеко отошло то время, когда ее дети были такими. Мария Александровна глядела на неуклюжего мальчугана, одетого с трогательной аккуратностью бедности. Уж она-то умела угадывать это сразу. Ей это было знакомо.

С появлением Горы и Вари в семью снова вернулось детство. Больше других пришлось заниматься с мальчиком Марии Александровне. Передавала ему то, что знала сама. А время несло небывалые вести! Розинг провел первую в мире телепередачу. Амундсен достиг Южного полюса...

Под Новый год Мария Александровна внимательно-грустно следила за тем, как Варя разворачивает полученный подарок. Сняла лист бумаги. Под ним другой, под ним — третий. Тревожась, не обидится ли непривычная к шуткам девочка, она невольно видела перед собой нетерпеливого, насупившегося Володю, вот так же срывающего лист бумаги за листом со своего сюрприза. Варя и в самом деле чуть не обиделась. Неизбалованная девочка решила, что над ней пошутили. Мария Александровна ободряюще кивнула ей, взглядом говоря: «Не тревожься». И в последнем листе папиросной бумаги оказалась крохотная коробочка с бирюзовыми сережками. Девочка чуть не расплакалась, не веря, что такая «драгоценность» действительно подарена ей.

Занятые подарками, дети не заметили, что в гостиной, кроме Марии Александровны и Марка Тимофеевича, с ними не осталось никого из взрослых. Мария Александровна по-

дошла к роялю и заиграла веселый марш. Двери распахнулись, и вбежали незнакомые маски. Марш сменился вальсом. Маски закружились в фантастическом танце: Ночь в золотых бумажных звездах, рассыпанных по платью из черной вуали, с серебряным полумесяцем в распущенных волосах, Турчанка в пестром тюрбане и Елка в зеленой бахроме и игрушках. Мария Александровна с удовольствием наблюдала изумление детей, когда полумаски были сняты и Ночь оказалась Маняшей, Турчанка — Надей Голубятниковой, племянницей Марка Тимофеевича, приехавшей на каникулы, а Елка — горничной Машей.

Подошла весна 1912 года.

Россию потряс расстрел на Ленских приисках. Семья жила настороже. И в ночь на 8 мая пришли жандармы, увели Марию и Анну. Марк Тимофеевич вот-вот должен был вернуться из командировки. Мария Александровна осталась одна. Она рано утром отправилась на пристань. Когда пароход причаливал и к сходням подошел Марк, мать сделала предостерегающий жест, и Елизаров не спустился на берег. Прямо с пристани она поехала в жандармское управление узнать о судьбе дочерей. «Может быть, и ненадолго взяли»,— равнодушно сообщил жандарм.

Нервы не выдержали, и Мария Александровна потеряла сознание. Такое с ней случилось впервые.

Если бы не Гора, было бы очень плохо. Мальчик прибежал к ней, как всегда, веселый.

— А где все? — удивленно спросил он, оглядываясь.

— Уехали по делам,— лгать ей было неприятно. Сказать ребенку правду — невозможно. Мария Александровна снова склонилась над письмом, которое она писала Павлу Тимофеевичу Елизарову в Сызрань, прося его задержать Марка. Арест дочерей был связан с работой Саратовской социал-демократической организации.

Анну вскоре освободили.

— А Мария Ильинична? Когда она приедет? — приставал Гора.

— Ее еще задерживают дела. Она просила тебя писать ей почаще.

И мальчик писал. И получал ответы. И не догадывался, что они — полные юмора — написаны в тюрьме.

В июне Володя и Надя переехали в Краков. От Анны мать знала, что это вызвано необходимостью быть ближе к редакции газеты «Правда», начавшей выходить в Петербурге.

«...Из Парижа я нынешним летом забрался очень далеко — в Краков,— писал сын.— Почти Россия!.. И граница русская в 8 верстах (поездом от Гра́ницы часа два, от Варшавы 9 часов), бабы босоногие в пестрых платьях — совсем как Россия...

Желаю вам с Анютой хорошенько отдохнуть и прокатиться приятнее по Волге. Жары начинаются сильные. На реке, должно быть, хорошо будет.

Относительно Маняши надо надеяться —

после того, что тебе сказали,— что долго ее продержать не смогут...»
(I июля 1912 г. г. Краков).

Поехали с Анютой по Волге, по Каме, в Пермь. Гора остался с родителями.

Знакомые берега плыли за окнами парохода. Тянуло кизячным дымом, рогожами, воблой, скошенной травой, речной свежестью. По ночам горели костры. Как тогда, как всегда... Все было щемяще знакомо и напоминало молодость. И все оказывалось другим. Пермь давно отстроилась заново, и тяжелые купеческие дома, казалось, не знали пожаров.

В городе родственники, знакомые. Александровская больница! Вот где сжалось сердце при виде добродушных львов, дремлющих у подъезда! Сюда девочкой приходила Маша Бланк к своему отцу. Так же зеленели лиственницы — слабые, нежные тогда, крепкие, взрослые теперь.

Уцелел дом, где прошло раннее детство. Но туда не впустили полицейские — канцелярия губернатора. Все было кончено. И все сохранила память. Остановились в гостинице над Камой.

Даже отдых, даже леченье осложнялось жандармской слежкой, утомительным вниманием шпиков. Когда весной 1911 года по настоянию Марка Анна увезла мать в Бердянск, где она должна была пройти курс лечения (усилилась болезнь сердца), им пришлось несколько раз менять квартиру, несмотря на доброе отношение хозяев.

Когда стало поспокойнее в Саратове, вернулся Марк: он перешел на другую службу. Должность его называлась — главный инспектор Российского транспортного страхового общества. Чем солиднее это звучало, тем удобнее было продолжать подпольную работу.

Мария Александровна чуть ли не каждый день относила передачу Маняше. Писала ей:

«Теперь шестой час, и я представляю себе, что ты гуляешь теперь, голубушка моя, переношусь мыслями к тебе... Очень рада была узнать, что ты бодра и чувствуешь себя хорошо, дай бог, чтобы так было и дальше. Надеюсь, что скоро будешь свободна, а может быть, мы вместе отправимся, куда судьба велит...»

Понемногу Мария Александровна готовилась к отъезду. Куда? Этого еще никто не знал. Укладывала неизменный погребец, шкатулку — с нитками, иголками.

— Куда ты, мама, столько ерунды набираешь? — спросила Анна.

— А вдруг в дороге кому-нибудь понадобится...

Такая она была — мама.

Гора стал членом семьи Елизаровых. Особенно был доволен Марк Тимофеевич. Приемного сына и отца связывала нежнейшая дружба.

Съездив к Мите в Крым, Мария Александровна и Анна с Горой поселились в Вологде возле Мани. Жизнь осложнялась не только опасностями работы, закрытием «Правды». Болела Надежда Константиновна. Влади-

мир Ильич делился с матерью: «Дорогая мамочка! В среду наконец после 2-недельной «подготовки» в клинике Надю оперировали. Операция, видимо, сошла удачно, ибо вчера уже вид был у Нади здоровый довольно, начала пить с охотой. Операция была, по-видимому, довольно трудная, помучили Надю около трех часов — без наркоза, но она перенесла мужественно. В четверг была очень плоха — сильнейший жар и бред, так что я перетрусил изрядно. Но вчера уже явно пошло на поправку, лихорадки нет, пульс лучше и пр.

Кохер все же хирург замечательный, и с базедовой болезнью надо ехать к ним...

Закрытие газеты, в которой я писал, ставит меня в очень критическое положение». (Суббота, 26/VII 1913 . Берн.)

В одну из тихих ночей полиция нагрянула к ним на дачу и устроила обыск. Потребовали паспорт у Марии Александровны:

— Мария Ульянова вы?

— Я.

— Отдайте все нелегальное, что у вас есть!

Мария Александровна молчала, надеясь в душе, что ошибка может отвести беду от Маняши. Ее обыскали. Тут возмутилась Анна:

— Да вы что, издеваетесь? Не видите, с кем разговариваете?

— Обязан все сделать по форме,— твердил пристав. И сделал.

Забрал паспорт Марии Александровны, испещренный прописками, ее легальные книги, потрепанный томик «Анны Карениной».

Когда жандармы ушли, мать уговорила Анну уехать.

— А то влетишь! — она усвоила язык детей и их товарищей.

Марию вытребовали со стражником в Вологду для обыска квартиры. Она уехала спокойная, а мать не могла сидеть на месте. Не выдержала и поздно вечером пошла на станцию.

Ночным пустым поездом, в дребезжащем, пропахшем пылью вагоне Мария возвращалась на дачу. Не стала дожидаться утра. Едва теплился сальный огарок в фонаре над дверью, плясал бледный блик света по рыжим грязноватым полкам. Клевал носом подвыпивший проводник.

Поезд не успел остановиться, как Мария на ходу спрыгнула под крутую насыпь и... увидела одинокую фигуру.

— Мамочка, ну что ты, право? Темень. Ни души. Поздно-то как.

— А ты? Я скорее хотела узнать, что с тобой,— немного смущенно и радостно мать взглянула на дочку.— Марусенечка ты моя!

Что-то сжало горло Марии. Она обняла мать за плечи и заметила, что та стала меньше ростом за последний год.

Медленно, в молчании дошли до деревни. Где-то лаяла спросонок собака. Шуршали на насестах куры.

Дойдя до дома, мать и дочь сели на крыльцо. Пахло сиренью. Мария Александровна сказала, крепче сжав руку Маняши:

— Не хочется так жить, без дела, поехала бы я куда-нибудь насовсем в деревню, учить ребятишек грамоте...

Осенью в Вологде то и дело забегали к Марии ссыльные друзья: Воровский, Любимов, Станислав Кржижановский. Возобновились музыкальные вечера. Когда все расходились, внезапный стук, свет, грубые голоса будили Гору. Мария Александровна тревожно приглядывалась к Горе, а он ни разу не спросил взрослых о ночных визитерах. Преданно смотрел он на приемную мать, ласкался к Мане и бабушке. Может быть, он забывал?

В мире было неспокойно. Но люди старались переделать этот мир.

Через Марию Ильиничну шла почта «Правды».

Объявление войны с Германией перевернуло жизнь каждого. Мария Ильинична заявила, что будет добиваться работы в госпитале. Зная ее убеждения, мать понимала, что это неспроста. Может быть, она должна вести там партийную работу? Может быть, играла роль дружба с Верой Бонч-Бруевич.

В один осенний вечер Маняша рано легла спать. Гора давно заснул на своем сундуке. Анна и Мария Александровна, тихо разговаривая, убирали посуду после чая.

Военные действия отдаляли всех, кто был в эмиграции.

Так недоставало Марка! Один его вид — внушительный, его неторопливые манеры располагали к спокойствию, делали всех уверенней. С ним и Мария Александровна чувствовала себя лучше.

Вдруг раздался крик Горы: «Держи его! Держи!» Грохот, звон чего-то разбившегося. Мать и Анна бросились к мальчику. Гора, свалившись со своего ложа, продолжал безмятежно спать на полу, укутанный пикейным одеялом. Спала на своем месте и Маруся. С трудом подняли Гору, раскутали его, поправили матрас, укрыли. Посидели возле. Гора спал спокойно.

Утром за чайным столом со смехом вспоминали ночное происшествие, осторожно расспрашивали мальчика о том, что он видел во сне, но он ничего не помнил. Решено было отдать его на детскую площадку, куда ходили Ниночка Воровская и Игорь Любимов.

Дождавшись весны, отправились к Марку Тимофеевичу на Урал. А затем вся семья переехала в Петроград, кроме Марии Ильиничны, ушедшей на фронт.

Никто никогда не видел ее слабой. По-прежнему двигались худощавые руки, чиня, вышивая, переписывая, штопая, расставляя посуду. Никто не сидел без дела в этом доме.

Она не позволяла себе шаркать по полу мягкими туфлями. Ступала четко. Но сердце покалывала невидимая игла. Боль внезапно сковывала руку, спину. Дышалось не в полные легкие. Казалось, что в груди отверстая рана. Когда удается вздохнуть — воздух проходит через сердце. Тянут его, тянут раскаленные нити. Если приступ застигал ее, когда она оставалась одна в квартире дома-корабля, Мария Александровна, сжавшись в «турецком» кресле у окна, усилием воли гасила, остужала эти жгущие невыносимые нити.

Ее комната была самой солнечной, но солнце заглядывало ненадолго. И вообще им везло на холодные квартиры. Марию Александровну знобило. Ей казалось, что нити, идущие от сердца, существовали всегда, растягивались на тысячу верст, связывая ее с теми, кто близок, но отсутствует. И тот, кто далеко, знает, что мать ждет.

Сегодня она вспомнила Скляренко, его дочку, Станислава — верного друга Маняши, которого Маня разыскала в Галиции тяжело раненного. Вот зашел недавно Шелгунов — рабочий, знавший Володю уже давно. Слепой.

Ныли натруженные ее ноги. Они столько ходили — и неужели уже не поспевали за молодыми? Прошлым летом на даче, снятой Марком Тимофеевичем в Лыкошино, дети в дальние походы отправлялись без нее. Она бродила возле дома, сидела в палисаднике, сушила принесенные ими грибы, хлопотала на кухне, много читала. Что бы она делала без книг? Теперь у нее был постоянный собеседник — Гора. Первоклашка коммерческого училища так гордился новенькой формой, что Анна Ильинична повела его в фотографию и сняла при всем параде. Он только с Марией Александровной поделился своей тайной: в коммерческом преподавали переплетное дело, и Гора решил к Новому году сделать подарок приемной матери, переплести переведенную ею книгу. Мария Александровна помогла ему раздобыть экземпляр «Аграрного вопроса» Уго Роббено.

Она вспомнила Симбирск, как дети готовили сюрпризы ей и отцу. Выпиленная лобзиком дощечка для хлеба, подаренная Сашей, до сих пор хранится в буфете.

Однажды Гора пришел к ней очень озабоченный. Ему предстояло говеть.

— Зачем?

Трудно было объяснить зачем.

— Так полагается по правилам...

Правда, легенды из Священного писания ему нравились, он расспрашивал о загробной жизни.

— Глупости все это,— сорвалось у Марии Александровны,— ничего там нет.

Большая радость — на дачу на несколько дней приехала Маня. Непривычно было видеть ее в костюме сестры милосердия, так же как Митю в форме военного врача. Ненадолго вырвался Марк. И только Володя жил далеко-далеко. Она верила: если бы он приехал сюда, все стало бы хорошо. Не только дома. Вообще. В мире. Она знала: труд его тяжел и так велик, что отринет все плохое, потому что он не один, как Саша, а с ним весь народ, все. И настанет мир. Если бы можно было проснуться через несколько десятков лет и посмотреть, что будет тогда на земле, как тогда будут жить люди. Увидит ли она, как победит дело ее детей?

Сверстникам не могла она открыть богатство, которым наполнили ее жизнь дети. Шла в ногу с молодыми. Но все чаще останавливалась, оставалась одна. А она привыкла всем делиться с ними. Почти каждый день писала письма. Чаще всего Маняше.

«Родная моя, будь осторожна, главное, береги здоровье и во всем прочем чтобы не вышло какой беды, а то страшно огорчишь меня»,— и, стесняясь посторонних глаз, чужого любопытства, волнуясь, как-то она там, хотя и взрослая, хотя и сестра милосердия, выхаживающая раненых, приписывала

по-французски: «Если нуждаешься в деньгах, пиши; что мое, то твое».

Она вспоминала, как в Лыкошине на рассвете будил их пастуший рожок. Встала, чуть сморщившись от боли, перешла в столовую, напоминающую пароходный салон, сужавшуюся к маленькому треугольному балкону, открыла крышку фортепьяно и осторожно взяла первые аккорды. Зазвучала увертюра «Евгения Онегина». Пастуший рожок... Рассвет... Ветер тронул листья деревьев и рябью пробежал по воде. Первый луч солнца...

— Мамочка наша! — как всегда оживленная, Анна окликнула Марию Александровну из передней. Подняла руки к шляпе, но остановилась, глядя на маленькую, стройную, только чуть поникшую в плечах фигуру матери у фортепьяно.

— А не махнуть ли нам с тобой на острова? И Горку захватим.

Мария Александровна повернулась к дочери на винтовом табурете. Темные глубокие большие глаза ее загорелись. Недаром писала она Маняше: «А может, и на извозчике покатает меня Аня».

— Пообедайте сначала, без обеда нельзя.

Анна Ильинична кивнула и, вынув длинные булавки, придерживающие шляпу, прошла в столовую.

Отперев дверь своим ключом, вошел Марк Тимофеевич.

— А может быть, ты плохо себя чувствуешь? — чтобы не смущать мать, перешла Анна на французский.

— Не старь меня,— улыбнувшись, ответила мать.

— Слышишь, Гора,— шутливо окликнул Марк мальчика, выглянувшего из своей комнаты,— опять меня ругают...

— Не сочиняй,— смутилась Анна.

— Тогда думай о моей «необразованности»,— продолжал Марк, слабовато владевший иностранными языками.

После обеда все поехали кататься, а когда вернулись, на столе лежало письмо от Владимира Ильича.

(12/III, 1916 г.). «Дорогая мамочка! Посылаю тебе карточки, одну для Маняши.

Мы живем теперь в Цюрихе. Приехали позаниматься в здешних библиотеках. Озеро здесь очень нам нравится, а библиотеки много лучше бернских, так что пробудем еще, пожалуй, дольше, чем хотели...

Надеюсь, у вас нет уже больших холодов и ты не зябнешь в холодной квартире? Желаю, чтобы поскорее было тепло и ты отдохнула от зимы.

Надя очень всем кланяется. Крепко тебя целую, моя дорогая, и желаю здоровья. Анюте большущий привет и М. Т. тоже. Твой *В. У.*».

И — фотография: без бороды, помолодевшее, оживленное лицо. Значит, все хорошо? Значит, все ближе его возвращение? Она размечталась о встрече, о поездке на пароходе.

Кутаясь в платок, Мария Александровна, как ни было ей трудно подолгу двигаться и работать, хлопотала по дому. День ее был

заполнен хозяйственными заботами, книгами и музыкой, Гориными уроками. Но день кончался. Если Анна была в Питере, до ее возвращения не гас свет в материнском окне, выходившем на Газовую улицу. Зеленый от абажура огонек, словно маяк, горел и горел, и виден был четкий силуэт на занавеске.

Тени на булыжной мостовой от качающегося фонаря плясали, мешали разглядеть того, кто стоит внизу. Анна прежде, чем открыть парадное, чтобы мать увидела ее, выходила на середину улицы. С Газовой и Широкой двери вели в один вестибюль, к одной лестнице. Дом действительно напоминал корабль, а то и паровой утюг, в котором окна горели, как угли. Потом гасли и светилось одно.

Сегодня Марии Александровне стало особенно тревожно. От Маняши давно не получали писем. Мария Александровна несколько раз звонила Бонч-Бруевичу, ведь его жена, когда-то последовательница Льва Толстого, работала там же, где Маня. Но Владимира Дмитриевича не было дома. Все сильнее росла тревога, не давая заснуть. Елизаровы были в отъезде. Только под утро мать задремала. Проснулась, ясно услышала звонок. Заторопилась. Накинула теплый халат. Отперла парадную дверь. Никого. Но заснуть уже не могла. Занимался рассвет. Не в силах ждать, она снова позвонила по телефону Бонч-Бруевичу. Он не сразу услышал звонок.

Мария Александровна обеими руками

держала трубку, боясь выронить — так они дрожали.

— Слушаю,— наконец прозвучал голос его. Горло у Марии Александровны перехватило.

— Вы не можете ко мне прийти?

— Что-что? — Он не сразу расслышал ее вдруг ослабевший голос.— Кто это? Мария Александровна? Конечно, сейчас, сию минуту.

— Приходите поскорее, пожалуйста, поскорее. Маня пропала...

Владимир Дмитриевич откашлялся.

— Да что вы? Нет, она жива-живехонька. Я только что вчера получил письмо от Веры Михайловны — она ее встретила на фронте.

— Не может быть? — Голос окреп, в нем послышалась обычная улыбка.— Вы верно говорите?

— Верно.

— Не обманываете? — Опять упал голос.

— Да нет же, Мария Александровна, как можно! Я письмо принесу. Хотите?

— Буду ждать.

— Ну-ну, бегу!

Мария Александровна так и не ушла из прихожей. Она присела на стул, встала, прошлась, держась за выпуклую, как орудийная башня, стену. Страх за Маняшу заслонил все.

Не было дня, чтобы не тревожилась мать, не ждала резкого звонка, стука в дверь, или топота жандармских сапог, или телеграммы, сообщения, что опять арестован кто-нибудь из детей. Даже там, за границей, арестовали

Володю. Рассказали ей об этом, когда все было позади. Недаром она надеялась на Крупских, чувствовала в них родственную силу. Надя все сделала для того, чтобы Владимира освободили, чтобы его невиновность была доказана. Елизавета Васильевна умерла, но, и оставшись одна, Надежда Константиновна не пала духом, много работала, помогала мужу, писала сама.

Девятнадцать арестов детей пережила мать, боролась, гордо подняв голову, входила в «присутствия», в холодные приемные чинуш и сановников. Сжимая в руках узелки с едой, письма, между строк которых молоком были вписаны важные, нужные слова, ждала в бесконечных очередях возле тюрем. Усталая, сидела на лавочке, ожидая позднего возвращения самых близких. Сейчас ко всему прибавился страх случайной смерти, ранения, плена. Она не сомневалась, что вместе со Станиславом ведет Мария опасную работу среди солдат. Ни дня, ни часа покоя. Когда-то сможет вернуться Володя?

Звонок еще не затих, как Мария Александровна отперла двери. Вид у Бонча был невыспавшийся, хотя Владимир Дмитриевич старался держаться спокойно, солидно. Тонкое лицо Марии Александровны еще более осунулось, став прозрачно-бледным. Только маленькие яркие пятна выступили на скулах. Она смущенно улыбнулась:

— Потревожила я вас. Такая рань.

Владимир Дмитриевич протянул ей письмо жены:

— Может быть, мне прочесть его?

— Да-да, прошу вас.

Они прошли в комнату Марии Александровны. Бонч-Бруевич раз и другой медленно, внятно прочитал о том, как жена встретила Маню, какая деятельная и неутомимая Мария Ильинична.

— Правда? Письмо в самом деле вчера получили?

Владимир Дмитриевич показал штемпель на конверте. Надев очки, Мария Александровна вглядывалась в неясные цифры. Кажется, успокоилась. Улыбнулась совсем по-обычному:

— Спасибо, родной. Не сердитесь. А то я всю ночь не спала. Почудилось мне, что с Маней несчастье... Чай-то вы, конечно, не пили? — Она направилась в кухню.— Теперь уж не отпущу без завтрака.

Мария Александровна быстро-быстро ходила по столовой, вынимала из буфета чашки, бублики с маком. С едой в 1916-м было негусто. Но когда в стакане зазолотился крепкий душистый чай (себе Мария Александровна чуть-чуть «подкрашивала» воду), она вдруг задумалась:

— А сколько верст до самой передовой позиции? В плен Маня не может попасть? — Помолчала и опять попросила все-все рассказать ей о письмах Веры Михайловны.

Владимир Дмитриевич хорошо запомнил это утро и записал все о нем.

Волнение не прошло даром. Может быть, повредил и сквозняк в то утро ранней весны.

(19 апреля) «...Я чувствую себя все плохо,— читала Мария Ильинична,— хотя при-

нимаю все, что прописал врач наш: отдышка мучает меня, не могу дышать свободно, это мучительная вещь. На воздухе чувствую себя лучше, но ходить много не могу. Не дождусь, когда поедем по Волге, тогда буду чувствовать себя лучше, но Марк говорит, что раньше чем около половины мая не может ехать, надо потерпеть...»

Мать мечтала увидеть новое, молодое счастье в своей семье. Жизнь должна быть полной, душа не должна сжиматься. Как много может сделать человек, когда его понимают дома, когда есть совсем близкий единомышленник.

Еще зимой писала она Маняше: (15 янв.) «Дорогая моя Марусенька! Получила нынче открытку твою от 13-го, большое merçi за нее, моя родная! Станислава ты, вероятно, видела уж? Если ему дали отпуск, он мог бы приехать сюда ненадолго, вот рады были бы мы! Предлогом послужит посоветоваться с хорошим врачом».

Все сделали друзья для того, чтобы дать Марии возможность повидаться с матерью. Не так это было просто.

А мать ждала: «4 мая. Солнце светит ярко сегодня, но я не собираюсь погулять, подожду тебя, родная моя,— она зажмурилась от боли,— пойду уж я с тобой, а сейчас легла опять. Расцелую тебя крепко, милая, дорогая моя! До скорого свидания!»

Уходили силы, а мысли были с детьми, далеко-далеко. Она почти не поднималась с постели. Это тяготило ее, деятельную, энергичную.

Вдруг резкий звонок. Стук в дверь. Громкие голоса. Кто-то засмеялся. И на пороге комнаты — Маня! Похудевшая, загоревшая, в белой косынке с красным крестом, оттеняющим горячие, «разбойничьи», как шутила она, глаза.

— Марусенька!

Сразу дело пошло на поправку. Настолько, что Анна сочла возможным уехать по делам партии в Финляндию. Но тревога за здоровье матери не покидала ее: «Будем собираться на дачу. Береги себя. Если нужно, вызовите Вигдорчика или Кетчера...[1] Вчера провели день в Териоках. Еду в Гельсингфорс. Теперь ведь Маня с тобой»,— находила она минуту написать с дороги.

Да, Маня была дома. Иногда до поздней ночи разговаривали мать и дочь.

— Берегут меня, Маня, значит, постарела. Боятся огорчить. Умалчивают. Ты-то хоть не сострадай. Говори все.

О поездке на пароходе уже не думали. Дочки не могли надолго и далеко отлучаться из Питера. Зато деятельно собирались на дачу. Сняли домик в Больших Юкках, недалеко от финской границы. С палисадником. Вот только рояля там не было.

Наступил день отъезда. Пошли за извозчиком. В прихожей, в столовой громоздились корзины с посудой, баулы, чемоданы, портпледы с подушками.

Сердце не болело, дышалось легче. Лишь бы дождаться Володю! Мария Александ-

---

[1] Врачи, лечившие Ульяновых.

ровна осмотрелась вокруг. Все до осени оставляла в порядке. Укрыты чехлами диваны, фортепиано, в бумажном колпаке люстра с бисерными подвесками, сделанными Аней и Маняшей под ее руководством. Аня не отставала от моды. Этой зимой многие занимались своеобразной мозаикой. Брали простой глиняный кувшин или горшок, покрывали золоченой замазкой и вдавливали в нее все, что попадало: осколки цветного стекла, пуговицы, даже маленькие ключи. Мария Александровна переставила такой горшок подальше под газету, чтобы не пылился, и, растянув чехол, подняла крышку фортепьяно. На чесучовый костюм ее уже была накинута тальма.

Не раздеваясь, только сняв перчатки, Мария Александровна заиграла «Патетическую» — сонату, так любимую Володей.

Вот бы дверь отворилась и он вошел! Но разделяют их государства и границы, война и запреты, непреодоленное зло.

В Юкках Гора целые дни пропадал на озере. Взрослым было не до него.

За окнами (Юкки славились ветрами) качались ветки яблонь, на ровных грядках (а не на клумбах) правильными рядами поднимались первые цветы. Поздно цвели черемуха и сирень. Уже и в саду возиться стало Марии Александровне трудно. Она слегла. На свой ночной столик просила поставить карточку Владимира, присланную из Цюриха. Она поворачивала ее в

течение дня так, чтобы все время видеть усмехающиеся Володины глаза, чтобы стекло не отсвечивало.

Анна Ильинична старалась не оставлять мать одну.

Вот сорвала она листок календаря: 24 июня... И невеселые мысли пронеслись в ее голове: что можно сделать?

— Дай мне что-нибудь, Аня,— едва слышно проговорила Мария Александровна.

Анна обернулась к ней. Лицо матери было спокойно, как всегда. «Валериану с ландышем? Камфору? Как вернуть силы? Ох, если бы приехал Володя! Но это невозможно».

— Облатку какую-нибудь...

Мать никогда не просила помощи. Всю долгую жизнь всегда помогала сама.

— Ты знаешь, я еще хочу пожить с вами...— успокаивающе улыбнулась.

Приняв лекарство, она устала даже от этого движения, сказала:

— Что бог даст...

Медленно тянулись дни. Она ловила себя на том, что пролежала час-два в каком-то забытьи. Ее тяготила невозможность самой ухаживать за собой. Дети так заняты. Гору совсем забросили. Иногда казалось, что она в Симбирске.

— Куда же папа наш ушел?— выговорила она вслух и опомнилась, заметив удивленное лицо Анны, вдруг блеснувшие слезами глаза Марии. Добавила:

— Задремала я...

Она редко теперь надевала наколку на подстриженные, завивающиеся на концах легкие волосы. Аккуратно причесанная, вся в белом, может быть, она сейчас отдохнет и встанет.

— Где же наш Митек?— иногда ей казалось, что это он — мальчик — стучит в сенях, торопливо ставя в угол грабли, лопату, удочки. А это шумел Гора.

Медленно, слишком медленно шло лето. Никогда не ощущала она этого. Ей всегда не хватало времени. Она рассматривала свои руки — худые пальцы стали узловатыми.

Всегда веселая выдумщица Маня затихла. Сегодня она читала ей вслух новый роман. Вспоминала, как мать переводила с английского, как смутило маму появление в газете первого ее перевода.

Так хотелось учиться! И учить. Правда, в школе она преподавала только рукоделие, но она учила своих детей. Она научила их хотеть учиться, а это главное. И быть честными. Во всем. За это они платили дорогой ценой.

Она перевела взгляд со своих рук на Манины. Длинные сильные пальцы. Руки у них у всех похожие.

Анна вошла из сада, улыбнулась матери и поставила в стакан едва развернувшийся тюльпан необыкновенного цвета — огненный с темными искрами.

— Как это красиво!— сказала мать.— Какой хороший цветок.— И, улыбнувшись

дочери, повторила фразу по-французски, как привыкла это делать для Горы.

Глаза ее заблестели. Она взяла дочерей за руки. У Анны такие же руки.

Чувство будущего. Оно держало ее в жизни. Взгляд остановился на встревоженном лице Анны:

— Я ухожу... ухожу... Ухожу от вас...

Ей представился длинный-длинный коридор.

— В могилу...— неожиданно для себя выговорила она. Но это нужно было выговорить. Успеть. Взглянула на Марию:

— А ты живи счастливо... в этой семье... я ее так люблю,— сказала она, вспомнив о Марке, но не назвала его.

Как будто долг свой передала Анне. Старшей. И закрыла глаза. Заснула.

Неподвижно сидели дочери. Было пасмурно. Мария легко сжала запястье материнской руки. Пульс был слаб и неровен. Налетевший ветерок разметал легкие занавески на окнах. Кусты, качнувшись, заглянули в комнату, зашуршали листвой по подоконнику. Что напомнили они? Сколько прошло времени? Она дышала глубоко, ровно, спокойно. Дочери сторожили ее сон. Вдруг она вздрогнула, вздохнула. Мария бросилась к шприцу, лежавшему в металлической коробке на ночном столике. Впрыснула камфору. Но лицо матери потемнело.

Жизнь вершила свои большие дела, а матери уже не было в мире.

С шумом ворвался Гора и остановился

на пороге. Как обычно — аккуратная, красивая — спала Мария Александровна, положив руку поверх белого пикейного одеяла. Оборка ночной кофточки тепло оттеняла лицо. Но почему так неподвижны скорбные лица Марии и Анны? Что случилось?

— Умерла наша мамочка,— сказала Анна,— не дождалась Володи.

Гора бросился к своей приемной матери, обхватив ее за шею исцарапанными, загорелыми, перепачканными землей руками. И только тут она заплакала.

Разговоры о похоронах. Казенные слова бумаг: «Справка Спасо-Парголовской церкви. Иерей...» Все это не доходило до сознания. Мать еще была с ними. Брали разрешение перевезти ее по железной дороге в Питер, похоронить на Волковом, рядом с Олей.

Можно было до нее дотронуться. Плакали. Сдерживались. Печаль была светла. Оказывается, так может быть. Они жадно слушали все, что говорят о матери немногие друзья, помогавшие им, пришедшие проститься. Всех разметала война. Легкий гроб несли вдвоем Бонч-Бруевич и Марк, холм цветов вырос на кладбище.

Не исчерпать было душевного богатства, созданного, посеянного матерью в мире.

Анна отвечала на письма Дмитрия:

«Мне не тяжело. Мне приятно писать и слышать о ней... Обнимаю тебя горячо... Ты

так походишь на нее. Будь здоров, хороший мой... Будь покоен за меня».

Она заклеила конверт. Надписала адрес.

Созданная матерью семья, больше чем семья Ульяновых, продолжала жить. Ширилась. Трудилась. Готовились к решительным битвам ее дети.

Мать не дождалась сына.

Россия ждала Ленина.

1968—1977
Ленинград — Ульяновск — Пермь — Пенза

ОТ АВТОРА

Показать в небольшой повести весь сложный путь замечательного человека можно либо идя по вехам хронологии, либо раскрывая проблемы, возникающие в жизни героя, определяющие ее. Автор попытался сделать второе. Он стремился в исторических лицах увидеть живых людей в их борении, людей, с которыми мы до сих пор идем рядом, советуемся с ними.

«Повесть о матери» дала мне много новых друзей и знакомых, чье заинтересованное участие в работе над книгой вселяло веру в ее нужность.

Воспоминаниями, советами помогли автору и Г. Я. Лозгачев-Елизаров — приемный сын Анны Ильиничны, и Татьяна Павловна Жакова-Басова — внучатая племянница Марии Александровны (по линии Ардашевых) — люди, оценивавшие освещение фактов, обстановки в семье Ульяновых, данных в повести. Беседы с ними сами по себе были открытием, узнаванием традиций ульяновской семьи.

Пермский областной государственный архив, областная библиотека имени Горького и в первую очередь научные работники, журналисты — Л. М. Комарова, С. М. Гинц, В. К. Алексеева, В. Г Соколова и многие

другие делились своими находками. Трудно переоценить доброе отношение и помощь сотрудников Дома-музея В. И. Ленина в Ульяновске, ленинградского филиала Центрального музея В. И. Ленина, пензенских историков во главе с Г. Н. Чекушкиной, архивистов Е. Я. Дмитрука, В. С. Година, работников Дома-музея В. И. Ленина в Кокушкино. Казанский юрист Н. А. Васильев — внук сослуживца Ильи Николаевича — рассказал много интересного о симбирцах; А. К. Шарц показал дом, в котором жила в детстве Мария Александровна; врачи А. Г. Вершинина и М. Я. Подлужная поставили диагноз заболевания доктора Бланка. Это больше чем через сто лет! Куйбышевский энтузиаст краевед В. Н. Арнольд щедро делился своими архивными богатствами, что называется, оберегал автора от ошибок.

Благодаря содружеству со многими чудесными людьми, деятельной их помощи в подготовке книги к переизданию, с Б. В. Яковлевым, с профессорами лауреатом Ленинской премии А. М. Бабкиным и В. А. Мануйловым, с читателями, участниками читательских конференций, а также благодаря опубликованию и находкам новых архивных документов в книге уточнены некоторые факты, выверена хронология. Повесть стала больше, но в основе своей не изменена.

Еще раз спасибо всем за помощь.

Елена Вечтомова

СОДЕРЖАНИЕ

МАШЕНЬКА БЛАНК	3
ГОРЕ НАРОДНОЕ	17
С ВОЛКАМИ...	21
ПЕРЕД ВОСХОДОМ	29
ПЕНЗА	38
ДЕЛО ЖИЗНИ	53
ВСТРЕЧА	60
РАСТУТ ДЕТИ	69
«ЧТО НАМ С НИМ ДЕЛАТЬ, МАША?»	81
НАДЕЖДА НА САШУ	104
СУД	118
НАДО ЖИТЬ	126
ВОЛОДЯ	135
ВО ФРАНЦИЮ!	173
СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ	181
ЕСТЬ ЛИ БОЛЬШЕЕ СЧАСТЬЕ?	195
ПУТЬ ВСЕГДА В ГОРУ	200
НАКАНУНЕ	211
ОТ АВТОРА	228

Елена Андреевна
Вечтомова

ПОВЕСТЬ О МАТЕРИ

О Марии Александровне Ульяновой

Издание 2-е, дополненное

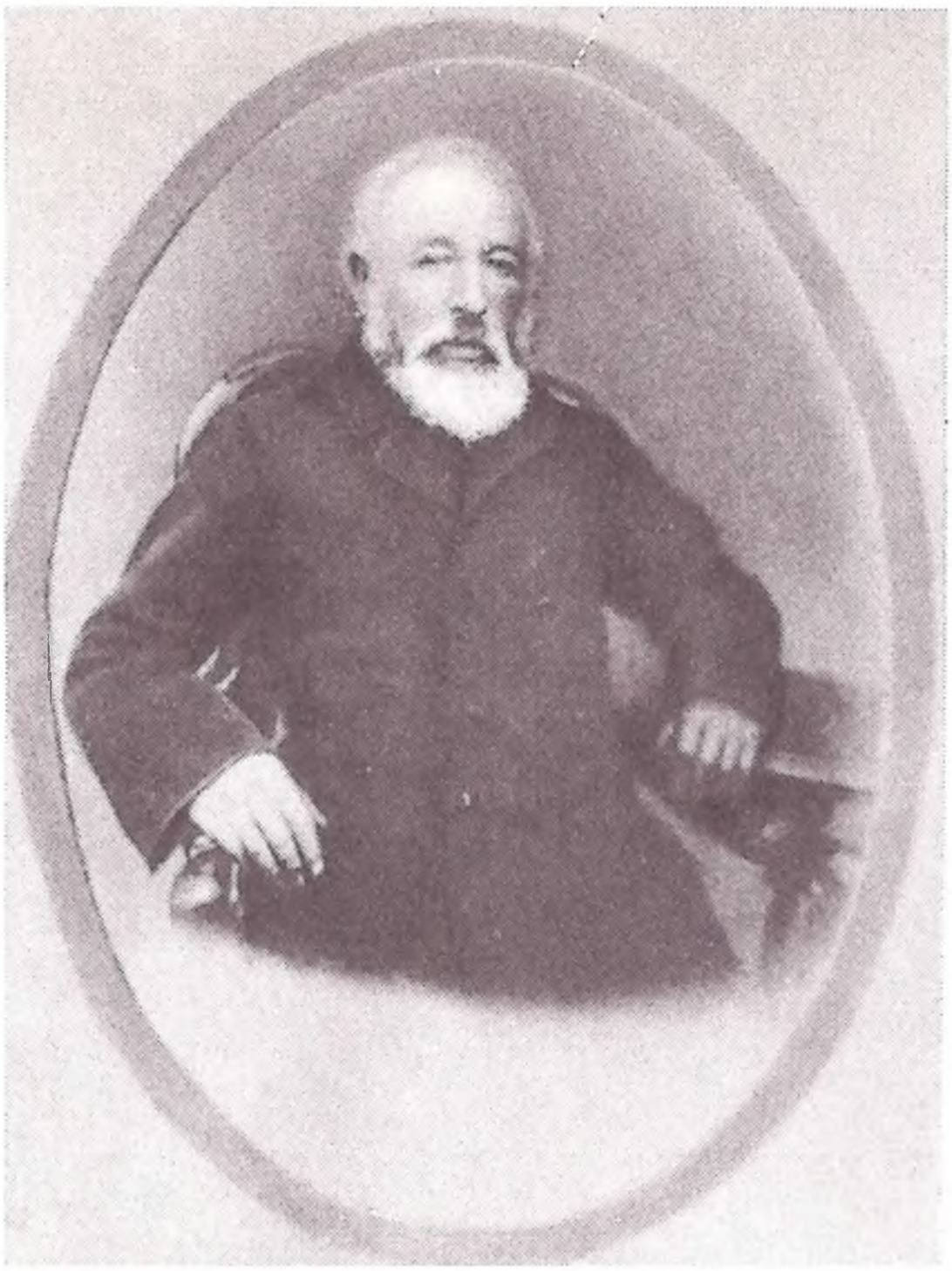
На первой странице обложки
фото Марии Александровны
и семьи Ульяновых

Заведующий редакцией *Л. И. Котеленец*
Редактор *Л. И. Стебакова*
Младший редактор *З. У. Устенова*
Оформление серии художника *В. И. Терещенко*
Художественный редактор *Г. Ф. Семиреченко*
Технический редактор *И. К. Капустина*

ИБ № 1424
Сдано в набор 15.02.78. Подписано в печать 24.05.78. А00068. Формат 70×90¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Услови. печ. л. 8,63. Учетно-изд. л. 7,64. Тираж 200 000 (50 001—200 000) экз. Заказ № 2877. Цена 30 коп., в целлофанированной обложке 35 коп.

Политиздат. 125811, ГСП, 103473, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16.



Александр Дмитриевич Бланк — отец М. А. Ульяновой



Екатерина Ивановна Эссен — тетка М. А. Ульяновой, сестра ее матери



Мария
Александровна
Бланк, 1863 г.

Его Высокородію

Господину Директору Училищъ
Самарской Губерніи

Дѣвицы Маріи Бланкъ

Прошеніе

Желая получить право на пер-
воначальное обученіе дѣтей русскому, фран-
цузскому и нѣмецкому языкамъ покорнѣйше
прошу, Ваше Высокородіе, допустить ме-
ня къ испытанію на этотъ предметъ.

Іюля 15 дня 1863 года

допущена к экзамену.

Марія Бланкъ.

Прошение М. А. Бланк
о допущении ее
к экзаменам
на звание
учительницы



Ленинград. Волково кладбище.
Могилы Ульяновых
и Елизаровых

35 коп.

Серия
«СЕМЬЯ
УЛЬЯНОВЫХ»

ОТЕЦ

ПОВЕСТЬ О МАТЕРИ

АЛЕКСАНДР
УЛЬЯНОВ

А.И.УЛЬЯНОВА-
ЕЛИЗАРОВА

ОЛЬГА
УЛЬЯНОВА

М.И.УЛЬЯНОВА

МЛАДШИЙ
БРАТ

Елена Вечтомова ПОВЕСТЬ О МАТЕРИ